

ВЯЧЕСЛАВ СОФРОНОВ

СИБИРИАДА

Дорога
на эшафот



Сибириада. Собрание сочинений

Вячеслав Софронов

Дорога на эшафот

«ВЕЧЕ»

2018

Софронов В. Ю.

Дорога на эшафот / В. Ю. Софронов — «ВЕЧЕ»,
2018 — (Сибириада. Собрание сочинений)

ISBN 978-5-4484-7288-6

Возмужавший в жизненных испытаниях подпоручик Василий Мирович возвращается в полк из Санкт-Петербурга. В боях под Цорндорфом он получает ранение. Придворные круги живут в ожидании кончины императрицы Елизаветы Петровны. Наследником престола становится Петр Федорович, ненавидимый армией за преклонение перед прусским королем Фридрихом и абсолютно не знающий Россию. Офицерские круги, свергнув неугодного императора, возводят на престол его жену – Екатерину II. Мирович попадает в водоворот политических событий и, не привыкший идти на компромисс, решает в одиночку освободить узника Шлиссельбургской крепости принца Иоанна Антоновича. Роман «Дорога на эшафот» известного сибирского писателя Вячеслава Софронова является заключительной частью тетралогии, посвященной государю Иоанну VI Антоновичу, открывая неизвестные страницы исторического прошлого.

ISBN 978-5-4484-7288-6

© Софронов В. Ю., 2018

© ВЕЧЕ, 2018

Содержание

Часть I. Накануне перемен	6
Глава 1. Возвращение в полк	6
Глава 2. Кураев	29
Глава 3. Несчастья графини Апраксиной	38
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Софронов Вячеслав Юрьевич

Дорога на эшафот

© Софронов В.Ю., 2018

© ООО «Издательство «Вече», 2018

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

Сайт издательства www.veche.ru

Часть I. Накануне перемен

Глава 1. Возвращение в полк

1

Обратная дорога показалась Мировичу гораздо длиннее, нежели недавний путь в столицу. Он понимал, что это всего лишь самообман, и если в столицу он летел как на крыльях, то теперь тащился в свою часть, словно побитый пес. Поэтому и время шло совсем иначе.

Кучер-преображенец, столь любезно предоставленный ему Кураевым, довез его только до первой заставы, а там хмуро предложил покинуть карету и ехать дальше на перекладных. Судя по всему, Гаврила Андреевич и эту услугу оказал Мировичу опять же с определенной целью, опасаясь, как бы он ненароком не задержался в столице. Поэтому и дюжий кучер, выполнявший, похоже, роль конвоира, был выбран далеко не случайно. Он зашел вместе с Василием в станционное помещение и там полупшепотом о чем-то переговорил с пожилым смотрителем, показал ему какие-то бумаги, а потом незаметно что-то сунул тому в руку. Смотритель тут же расплылся в улыбке, обнажив ряд гнилых зубов, и глянул в сторону Мировича, а потом несколько раз согласно кивнул головой. После этого преображенец достал из-за пазухи конверт с бумагами, а из кармана епанчи увесистый кошелек и протянул их Василию со словами:

– Велено тебе передать от капитана.

Мирович молча принял все это и сунул в свою дорожную сумку, даже не взглянув, что за бумаги находились в конверте, чем тут же вызвал недовольство преображенца.

– Денежки-то следует пересчитать, мил человек, – скорее потребовал, чем предложил он.

– Зачем? – возразил ему Мирович. – Смысла не вижу. Я не знаю, сколько там денег было, и если ты что-то из них оставил себе, то так тому и быть, обратно не отдашь. Но все одно благодарствую.

– Ты, паря, того... Говори, да не заговаривайся. Мы на чужое польститься сроду не горазды были. Потому как служим честно, – густым басом ответил тот, говоря о себе почему-то во множественном числе.

Мирович не знал, что ему ответить, и огляделся по сторонам, где на лавках сидело несколько человек, ожидавших, когда им подадут лошадей. Он обратил внимание, что в углу расположились три унтер-офицера со своими мешками и баулами, занимавшими весь проход. У самого края возле двери примостилась пожилая пара, судя по всему, из мелкопоместных дворян, в лице почтенного супруга в длинном, до ног, тулупе и его жены в подшитой камкой дохе. Они чувствовали себя в непривычной для них обстановке неуверенно и постоянно о чем-то шептались друг с другом, с опаской поглядывая по сторонам. Если сомлевающим в тепле унтер-офицерам было абсолютно наплевать на все происходящее вокруг них, то вот пожилая пара внимательно следила за разговором Мировича с преображенцем, что совсем не понравилось Василию. Поэтому он поспешил прервать разговор, достал не глядя из только что врученного ему кошелька монету и протянул ее преображенцу со словами:

– Прими за честную службу и проваливай. Начальникам своим передай, что доставил меня куда следует, а дальше я сам как-нибудь доберусь. Покорнейше благодарю за все.

Но, к его немалому удивлению, преображенец отшатнулся от него, словно от прокаженного, и лицо его налилось кровью.

– Ты, как погляжу, вроде из благородных будешь, а говорить с людьми тебя так и не научили. Неча мне подачку совать, оставь ее себе на что хочешь. Нам чужого не надо, своего хватает.

После чего он отошел к стене и уселся на лавку, видимо, собираясь проследить за отправкой своего подопечного.

«Да, хорошо у них служба налажена, – хмыкнул про себя Василий и спрятал монету обратно. – Ежели бы все в армии так себя держали, то, глядишь, и воевали бы иначе».

Ему стало даже неловко за свой поступок. Хотя любой на месте преображенца без зазрения совести принял бы деньги, да еще бы и поблагодарил. А тут, ишь, не по коню корм оказался. Он хотел было выйти на улицу, но тут вернулся смотритель и призывно махнул ему рукой, приглашая идти следом за ним. Мирович кинул взгляд на своего надзирателя, но тот даже не смотрел в его сторону, словно они не были знакомы. Тогда он пошел вслед за смотрителем, который указал ему на легкие санки, запряженные переступающим с ноги на ногу непонятной масти мерином. На облучке, сгорбившись, сидел возница в мохнатом овчинном тулупе и лисьем треухе на голове.

– Садись, ваше благородь, специально для нужных людей держим его, – он указал рукой на мерина. – Не гляди, что неказист с виду, но идет шибко. Так что поезжай с Богом.

Мирович поблагодарил смотрителя и отогнал мелькнувшую мысль дать и тому одну из переданных ему монет, опасаясь, как бы и он не оказался столь же принципиален, как давешний преображенец. Он сел в санки и прикрыл ноги волчьей полостью, предусмотрительно положенной туда заботливым смотрителем. Вскоре они выбрались за город и поехали по узкой, тянувшейся между сугробов дороге в преддверии занимавшихся позади утренних сумерек.

Василий удивился, как быстро промелькнула ночь. Вроде совсем недавно Федотовна потчевала его в доме у Елагиных, а вот уже и утро. Еще он в очередной раз пожалел, что не смог проститься с сердобольной женщиной, наверняка поджидавшей его возвращения, но на этом мысли его смешались, и он задремал.

До Нарвы он добрался лишь на третий день и сразу же отправился искать свою часть. Но первый же попавшийся ему навстречу патруль потребовал предъявить предписание, почему он находится в городе, а не выступил со всей армией. Мирович растерялся, не сразу сообразив, что все воинские части уже больше недели как выступили в сторону Кенигсберга. Патрульный офицер внимательно просмотрел все бумаги, которыми снабдил Мировича предусмотрительный Кураев, и посоветовал ему долго здесь не задерживаться, а постараться нагнать свой полк на марше, чтобы избежать суливших ему неприятностей в случае опоздания.

– Сюда как добрались? – поинтересовался он у Мировича.

– Да как обычно, где на перекладных, где на почтовых, почти три дня ушло, – честно признался Василий.

– Дальше ни перекладных, ни почтовых ждать не придется, поскольку там уже не Россия, а потому если кто и согласится из местных везти, в чем сильно сомневаюсь, то за хорошие деньги. Так что советую сыскать себе попутчиков из обер-офицеров, авось да и уговорите кого захватить с собой. И одеждой потеплее запаситесь, до Кенигсберга почти тысяча верст, непонятно, когда доберетесь.

– А что, город уже взяли? – поспешил узнать у него Мирович, у которого все никак не укладывалось в голове, почему Кураев не предупредил его о том, что армия покинула Нарву и вступила на прусскую землю.

– Да там и брать было нечего. Пруссаки сами ушли, так что казаки уже там гуляют, – со смехом пояснил тот на прощание, и Мирович тут же пошел искать дом для ночлега.

2

После оставления русскими войсками Нарвы свободных квартир оказалось предостаточно, и он без труда нашел домик на окраине, где уже расположилось несколько интендантов в ожидании прибытия амуниции для полка из Пскова. Они не тратили времени даром и хорошо погуляли, доставая дешевое вино на местном рынке. Василий, уставший с дороги, отказался от предложенного хозяйкой угощения и тут же завалился спать на недавно протопленной русской печи, благо, место там было не занято. Сон сморил его почти сразу, и он даже не прислушивался к пьяным разговорам, что вели подвыпившие интенданты, оказавшиеся вдали от начальства.

Он не знал, сколько проспал, но неожиданно проснулся среди ночи от стука в дверь и чьего-то очень знакомого голоса, хозяин которого интересовался, есть ли в доме свободное место. Проснувшаяся хозяйка вышла из-за перегородки и пыталась объяснить прибывшему, что дом ее занят, и советовала поискать место для ночлега в ближайших домах.

– Да уже везде стучался, – отвечал пришелец. – Но или спят, или боятся, но внутрь никто не пускает. А у вас вон огонек горит, потому и зашел наудачу. Не в сугроб же мне ложиться. Пусти, хозяйюшка, Христа ради, не обижуй...

Василий силился вспомнить, где он уже слышал этот голос, но за событиями последних дней воспоминания уносили его в дом Елагиных, в Ораниенбаум и еще куда-то далеко, но никак не наводили на того человека, что разговаривал сейчас с хозяйкой в нескольких шагах от него. А той совсем не резон был упускать случай и получить плату с приезжего, но и не хотелось спорить с громко храпевшими интендантами, разлегшимися в небольшой горнице, которые, проснувшись, наверняка начнут прикладываться к бутылке и не уснут уже до утра. Потому она не говорила ни «да» ни «нет», как бы набивая тем самым цену за ночлег.

– Чего ж ты, мил человек, так припозднился-то? Вот с вечера еще печка была свободна, а офицер какой-то пришел и занял ее. А на полу ты вряд ли где устроишься, все кругом занято...

– Заплутали мы в дороге. Возница мой повернул не туда, а пока расчухали, назад возвратились, ночь пришла. Хорошо, что вообще доехали. Я много места не займу, притулюсь хоть на лавке, главное, в тепле, – продолжал уговаривать хозяйку тот.

И тут Мировича словно осенило, когда он услышал знакомое словечко «возвратились», слышанное им когда-то давным-давно. И он, просунув голову под занавеску, отделявшую его от остальной избы, спросил:

– Аполлон, не ты ли случаем будешь?

На столе едва теплился огарок свечи, не потушенный уснувшими интендантами, в доме стоял полумрак, и можно было различить лишь темные фигуры возле двери. Но он безошибочно узнал в вошедшем своего друга по Шляхетскому корпусу, вовлекшего его в карточную игру, Аполлона Ушакова. После отбытия в действующую армию прошло почти два года, и жизнь ни разу не свела их. Когда Василий временами вспоминал о беспечном времени обучения в корпусе, то неизменно в памяти его всплывал Аполлон, и ему очень хотелось узнать, где он и что с ним стало. Будучи в столице, Василий не сообразил навести справки о нем, а вот сейчас тот собственной персоной стоял на пороге дома, где и сам Мирович оказался совершенно случайно.

– С кем имею честь? – спросил тот настороженно. – Чего-то не узнаю, кто тут есть. Назовите себя, может, и признаю...

– Ах ты, чертяка, старых друзей не узнаешь! – Мирович соскочил с печи и, шаря рукой в темноте, чтобы на что-нибудь не наткнуться, подошел к двери. – А ты вспомни Шляхетский корпус, и как мы прятались под лестницей, а потом нас вахмистр чуть не словил. Неужели забыл все?

– Василий, неужели ты? – отозвался тот и шагнул вперед, обхватив Мировича за шею и притянув к себе. – Вот уж кого не ожидал встретить! Какими судьбами здесь оказался?

– Потом расскажу, – ответил Мирович и, повернувшись к хозяйке, проговорил: – Матушка, пустите блудного сына к себе до утра. Я его рядом с собой на печку положу, там места на двоих хватит. Знатная печка, войдем и не подеремся.

– Правильно, сынок, говоришь, печку эту хозяин мой ладил еще в молодые годы, как мы с ним повенчались, и всегда приговаривал опосля, мол, на ней и впятером ночевать можно, а не только одному. Да вот забрал Господь Ванюшу моего, не пожил почти, надорвался работой тяжелой... – И она громко шмыгнула носом, но спохватилась и миролюбиво закончила: – Ну, коль говоришь, что разместитесь вдвоем, то так тому и быть. Пушай остается. Вы там располагайтесь, а я к себе спать пошла. Только свечку задуйте, а то эти варнаки оставили огонь, а я не углядела, как бы беды от того не вышло. А то вместо благодарности оставите меня без крыши на старости лет... – С этими словами она удалилась на свою половину, а Мирович с Ушаковым, осторожно ступая, прошли к столу и примостились рядышком на свободной лавке.

Потом Аполлон спохватился, что не снял одежду, поднялся с места и стал стаскивать с себя заледеневшую епанчу, положил ее рядом с собой, расстегнул кафтан, и Мирович, заметив, что он тоже перепоясан офицерским шарфом, спросил с интересом:

– До каких чинов успел дослужиться?

– Да пока что в поручиках хожу, – ответил тот, ставя на колени дорожную сумку. – А сам кем служишь?

– У меня чин пониже, подпоручика дали после Гросс-Егерсдорфа. А начинал с капралов.

– Поздравляю! – кивнул Ушаков. – Ничего, война еще не закончилась, глядишь, и дослужимся до иных чинов, где наша не пропадала. Значит, ты тоже в том сражении был? И в каком полку? Хоть одного пруссака уложил? А здесь как очутился? – засыпал он Василия вопросами, как всегда, выкладывая все сразу, торопливо и без пауз, успевая при этом вытаскивать из своей сумки какие-то мешочки и свертки.

Мирович смотрел на него с улыбкой и не торопился отвечать, ожидая, что тот сам начнет рассказывать о себе, а потом лишь начнет интересоваться всем остальным.

Так они и вышло. Аполлон вытащил припасенные с собой продукты на стол, сдвинул рукой остатки пиршества спящих интендантов и предложил Василию:

– Давай перекусим, чем Бог послал, а то я не помню, когда у меня кусок хоть чего-то съестного во рту был. Чертова дорога всю душу из меня вытряхнула, а потому голоден как волк. Присоединяйся без всякого стеснения. Что-что, а покушать – оно никогда лишним не будет. Ты куда дальше едешь? – задал он очередной вопрос, торопливо засовывая в рот отрезанный кусок вареного мяса и держа в другой руке здоровенный ломоть черного хлеба.

– Благодарствую, – отозвался Мирович, неожиданно почувствовавший приступ голода, тем более что и он лег спать, необдуманно отказавшись от хозяйского угощения. Сейчас, при виде аппетитно уплетающего холодное мясо с хлебом Аполлона, чувство это проснулось и в нем. – Я редко что с собой в дорогу беру, больше надеюсь на трактир какой или на то, что найду где-нибудь пропитание себе. Не привык как-то о себе заботиться...

– Зря, зря, – не переставая жевать, отвечал Ушаков. – В дороге всякое может случиться, потому всегда запасаясь самым необходимым. А выпить чего у тебя не найдется? У меня с собой было немного, но пока ехали, все в себя вылил, иначе бы замерз непременно, – громко хохотнул он, но Мирович тут же остановил его, приложив палец к губам и указав на половину хозяйки, где недавно скрипнули половицы от ее шагов. Видно, она не спала, дожидаясь, пока гости улягутся спать, чтобы задуть свечу и не опростоволоситься, как в прошлый раз.

– Все, молчу, – почти шепотком ответил Аполлон и переспросил: – Так нет ли у тебя, друг Василий, зелья какого. Я бы не отказался, чтоб сон быстрее пришел.

– Увы, не припас. Но коль знал бы о нашей встрече, то непременно захватил бы что-нибудь с собой. А так вон только, – Мирович кивнул на стоявший на соседней лавке бочонок с выбитым дном, оставшийся после пиршества уснувших интендантов.

– А это мысль, – согласился Ушаков. – Сейчас проверим, что там есть внутри.

Он взял со стола глиняную кружку, несколько раз встряхнул ее, потом проверил пальцами, не застряло ли что внутри, и подошел к бочонку, попытался зачерпнуть что-нибудь в нем. Но если там что-то и было, то на самом дне, и Ушаков, сморщившись, попросил Мировича:

– Не получается у меня, наклони-ка его, а я кружку буду держать...

Василию было не особо приятно участвовать в затеянном другом похищении чужой выпивки, но отказать он не мог. Поэтому выполнил его просьбу и наклонил бочонок, в котором и в самом деле оказалось совсем чуть вина, заполнившего кружку наполовину.

– Их, что ли? – Аполлон кивнул на мирно спавших интендантов. – Не могли хоть чуточку побольше оставить. Жаден русский человек до выпивки, ох, как жаден! – И с этими словами он сделал большой глоток из кружки и протянул ее Мировичу. – Не побрезгуй, глотни в память о дружбе нашей недолгой.

Василию опять же стало неловко отказать другу, но пить ему совсем не хотелось. И все же он принял кружку и, чуть замочив губы, передал ее обратно.

– Э-э-э, брат, гляжу, пить-то ты так и не научился. Может, оно и к лучшему, но только непьющих у нас не особо любят. Поди, заметил уже. Хотя мое дело сторона, живи, как знаешь. – С этими словами он сделал еще большой глоток, закашлялся, поперхнувшись, и тут же вновь засмеялся сам над собой, через силу выговорив: – Вот ведь, точно говорю, русский человек жаден до выпивки. А ты, как Суржиком был, так им и остался – ни то ни се! Как один кузнец у нас в имении любил повторять: ни Богу свечка, ни черту кочерга, – после чего принялся закусывать, разворачивая многочисленные свертки с едой, извлекаемые все из той же дорожной сумки.

3

Мирович, съев всего лишь один кусок мяса с душистым, не успевшим зачерстветь хлебом, к трапезе товарища никакого интереса не проявлял. Никак не отреагировал он и на его слова о выпивке, противником которой Василий себя не считал, но почему-то особой радости она ему тоже не доставляла. Поэтому и слова Ушакова выслушал вполне равнодушно, и даже про себя отметил, что раньше он давно бы вступил с ним в спор и начал доказывать свою правоту, абсолютно не слушая его возражения. То было раньше... До проклятого столкновения в Ораниенбауме с Понятовским, после чего он вдруг почувствовал свою незначительность и ничтожность в этом мире. Теперь ему было все равно, обвинят его в излишнем пристрастии к выпивке или, наоборот, упрекнут в излишней трезвости. Подобные обвинения после пережитого теперь Мировича мало трогали. Он уже пожалел, что признал в приезде своего друга по корпусу и упросил хозяйку пустить его на ночлег. Сейчас он мог бы спокойно спать дальше и не выслушивать смешные упреки, что он отказывается сделать глоток чужого, кем-то недопитого вина.

Ему хотелось поговорить с Аполлоном о чем-то другом, более важном. О той же Прусской кампании, что после посещения Петербурга предстала перед ним совсем в ином свете. Он порывался рассказать тому о своем знакомстве с Кураевым, о том, как он попал на бал, устроенный наследником, но вовремя спохватился, вспомнив о недавно данном обещании не упоминать ни при каких условиях обо всем, что там с ним произошло. Внимательно вглядываясь в торопливо жующего Ушакова, он вдруг пришел к выводу, что перед ним находится совсем другой человек, нежели тот, которого он знал раньше. Тот был весел, задорен, способен на непредсказуемый поступок, чем, собственно, запомнился Василию. А вновь встреченный им

Ушаков оказался вполне заурядным человеком, которого ничего вокруг, кроме собственного благополучия, не интересовало. О чем с ним можно говорить сейчас, Минович не представлял.

Наконец, насытившись и слегка захмелев, Аполлон привалился спиной к стене и, подавляя зевоту, поинтересовался:

– Чего же о себе ничего не расскажешь? В каком полку на службе состоишь?

– Ты вначале о себе расскажи, мне особо сообщить нечего. Записали меня в Сибирский пехотный, с ним и при Гросс-Егерсдорфе стоял, пока в капралах, а потом вот, почти сразу после боя, получил подпоручика. А тебя, выходит, сразу после корпуса в поручики произвели?

– Я же на последнем годе обучения был, потому и произвели. Это вас, недоучек, рассовали кого куда, а наших почти всех взяли на обер-офицерские должности: кого в Нарвский, нескольких человек в Киевский, а остальных в Московский, Выборгский, Ладожский полки. Я вот в Выборгский попал, а Петруша Ольховский, поди помнишь такого, в Ладожский. И оба в артиллерию направлены. «Единороги» шуваловские опробовать, – с усмешкой добавил он.

– Это вы, значит, в средней колонне оказались, где покойный генерал Лопухин командовал? – спросил Минович, который много слышал о гибели командующего второй дивизией генерала.

– Правильно говоришь, на нас все силы пруссаков и ополчились. Не знаю, как и выстояли. Если бы не старичок Лопухин, что бежавших молодых рекрутов удержал, за собой повел, иначе и меня сейчас в живых не было бы, – с этими словами он широко перекрестился, найдя висевшую в противоположном углу темную икону с горевшей подле нее лампадкой.

– И что «единороги» шуваловские? Они во время сражения позади моего капральства поставлены были, бахали так, думал, оглохну. Вроде большой урон от них кавалерии был. Все у меня на глазах творилось. Но тебе лучше знать, коль ты при них командовал.

– Да какое там командовал! – обреченно выдохнул Аполлон. – То поначалу, когда пруссаки далече от наших позиций стояли, точно командовал. А потом, когда они толпой поперли, не до команд было: сам заряжал, сам стрелял и куда там наводил, уже не припомню. Прислуга – кого поубивало, кто в лес рванул, а остальные с неприятелем врукопашную дрались. Кто чем мог. Нам, артиллеристам, по штату, кроме пушек, другого оружия иметь не предписано. Там, наверху, – он ткнул пальцем в потолок, – решили, будто бы неприятель до нас добраться никак не должен, а потому не подумали об охране нашей. Вот оно и вышло... – замолчал вдруг он, уставясь в стол, и поднял опустевшую кружку, проверяя, не осталось ли в ней чего.

Минович, заметив произошедшую с ним перемену, не спешил расспрашивать друга, что там случилось дальше, надеясь, что тот сам продолжит свой рассказ. И действительно, чуть помолчав, Ушаков закончил тяжким признанием:

– Когда всех вокруг меня поубивало, а на мне ни одной царапинки, словно заговорил кто, а пруссаки уже совсем рядом, два шага, и до меня доберутся, не выдержал, шпагу свою выхватил и что, думаешь, сделал? – Он пристально глянул в глаза Василию.

– Тоже на них кинулся? – спросил он, хотя понимал, друг его скрывал что-то, тяготившее его, а вот сейчас решился рассказать, может быть, ему первому, поскольку не мог уже дальше хранить это в себе.

– Если бы на них! – тяжело покрутил он головой. – Я же говорю: совсем один остался. Остальные – кто мертвый, кто раненый лежит, а пруссаков тех чуть ли не полсотни на пригорок лезет, где гаубицы наши стояли. Не знаю, зачем я шпагу свою выхватил, что я с ней против штыков их сделать мог, но кинулся, словно заяц, с того пригорка вниз, в сторону леса, куда не так давно часть рекрутов удула. Понимаешь, представил, как мне в брюхо штык прусский войдет, а он у них широченный да острый, вот умирать и не захотел. Бегу себе и думаю: «Аполлон, что же ты отцу родному потом скажешь? Как в глаза ему смотреть будешь, коль жив останешься?» И все одно – только шибче бегу, а вокруг меня пули свистят.

Мировичу захотелось ободрить его, поддержать, что пусть и сбежал он с поля боя, но зато жив остался. И никто не вправе осудить его за это. Но понимал, что вряд ли эти слова смогут утешить молодого поручика, все это время переживавшего за свой поступок, а потому просто промолчал.

Ушаков же, не глядя ему в глаза, попросил:

– Только, слышь, Василий, ты никому больше об этом не рассказывай, а то, ежели кто о том узнает, как есть, с собой покончу, не смогу дальше жить. Хотя вот так в себе все носить – еще труднее. Хорошо, что тебя встретил и поведал обо всем. Честное слово, полегчало, словно нарыв гнойный прорвало. Потому и пить начал после боя того, ты уж прости меня.

– Ничего, бывает. – Мирович положил свою ладонь на бессильно опущенную руку Ушакова и легонько сжал ее. – Так ты мне о единорогах сказать чего-то хотел, – напомнил он ему, желая увести разговор в иное русло.

– Ах, да! – спохватился тот. – Вроде ничего орудия, но капризны больно. Чуть больше или меньше пороху туда заложат, а ты же видел, как его картузами меряют, попробуй, угадай, сколько точно нужно, то начинают они палить как попало. То перелет, то рядом совсем картечь просыплут, и, не приведи Господь, коль там наши шеренги окажутся, то своих и положат. В горячке-то кто особо смотрит, куда и откуда снаряды летят, но я-то видел, как двумя выстрелами передние ряды наши почти под корень выкосило своим же огнем. А кто в том виноват? Я, что ли, неправильно проследил? Или заряжающий? Или сами мортиры, не опробованные толком, сказать не могу. И никто тебе того не скажет. Но иной раз так точно сыпанет, что полбатальона неприятельского, словно ветром солому с крыш сдует. Вот и суди сам, как те шуваловские «единороги» считать пригодными для боя или помехой тому. Не нашего то ума дело...

Они некоторое время помолчали, и в избе было слышно лишь шумное дыхание спавших на раскиданной по полу соломе интендантов, которым их разговор особо не мешал. Зато на другой половине время от времени поскрипывала кровать, видно, хозяйка никак не могла уснуть, опасаясь за сохранность своего жилища.

– Ну, показывай, что ли, где твоя печка, пора и нам укладываться, – сказал уставшим голосом Ушаков. – Ты так и не сказал, куда завтра двинешь?

– Куда же еще? Армию нагонять надо, а то запишут в дезертиры, и не докажешь потом, что не по своей воле отстал, – ответил ему Мирович.

– Из Петербурга, что ли, едешь?

– Из него, задержался на несколько дней, и вот теперь нагонять нужно.

– А я из Пскова еду, меня туда отправили новые пушки подобрать. До столицы чуть не доехал.

– И как, выбрал?

– Два десятка полевых пушек отписал на свой полк, но не все из них еще готовы. Какую на лафет поставить нужно, некоторым кое-какую доработку сделать. А из своих «единорогов» пусть сам Шувалов стреляет по кому хочет. После всего виденного за них поручиться не могу. Мне еще этот грех на душу принимать совсем ни к чему, других предостаточно.

– Ладно, полезли на печку, однако, – сказал Мирович и, убедившись, что Ушаков уже залез на лежанку, осторожно задул огарок свечи.

4

Когда они проснулись, то в доме, кроме хозяйки, никого не было. Она пояснила, что интенданты дождались получения своего груза и отбыли спозаранку, причем один из них так и не рассчитался за несколько дней ночлега, и настороженно покосилась в сторону Ушакова, который вызывал у нее наибольшие опасения. Тогда Мирович тут же достал деньги и вручил их продолжавшей причитать про нечестность хороших с виду людей. Та пересчитала полученную

сумму и тут же смолкла, ушла на свою половину, перед тем поставив на стол чугунок с овсяной кашей, и положила рядом две деревянные ложки и каравай недавно испеченного хлеба.

– Хозяюшка, – тут же крикнул ей вслед Ушаков, – а кваску у тебя не найдется? А то в горле пересохло... – и он выразительно покосился в сторону оставшегося на лавке пустого бочонка.

Та поспешно принесла ему кувшин с квасом, и он жадно выпил прямо через край едва ли не половину его содержимого.

– Могу тебе только позавидовать, что отказался от зелья этого. Дрянь, а не вино оказалось. Внутри так и горит все, – как бы в свое оправдание сказал он со вздохом, потряхнув головой, и тут же запустил свою ложку в чугунок с кашей и, едва не обжегшись, начал зло дуть на ложку.

Мирович же ел неторопливо, с удивлением поглядывая на вновь обретенного друга, представшего перед ним при дневном свете совсем иначе, нежели поздней ночью. Он отметил, что Ушаков за прошедшее время сильно возмужал, лицо его обветрилось, льняные волосы были аккуратно заплетены в косицу, прежде широко открытые глаза обрели ироничный прищур и надменность. И весь его облик производил впечатление человека пожившего, много повидавшего и готового ко всяческим неожиданностям. При этом Василию стало интересно, что думает Аполлон о нем самом и насколько точны будут его оценки.

– Как добираться будем? – спросил он, откладывая ложку в сторону.

– Погоди, я на пустой желудок плохо соображаю, хотя кое-какие мыслишки имеются на этот счет. Надо попутчиков искать или же просить у коменданта лошадей, нам по званию положенных.

Мирович ничего не ответил ему, хотя сам принял решение еще вчера, когда узнал о том, что армия выступила из Нарвы. Он тоже в первую очередь подумал о своем обращении к военному коменданту и о попутчиках, но прежние его поездки с Калиновским принесли некоторый опыт, и он знал, что в дальнюю дорогу люди с огромной неохотой берут с собой случайных попутчиков, разве что старых знакомых или сослуживцев. А им сейчас рассчитывать на такую встречу не приходилось. А идти в военную комендатуру, куда наверняка стекалась не одна сотня человек с подобными просьбами, и вовсе бессмысленно. Потому он, имея при себе полученные от Кураева деньги, хотел попробовать купить у кого-то из местных мужиков лошадь и сани, а потом нанять кучера, который бы и довез его до самого Кенигсберга. Так будет гораздо надежнее, и не придется быть зависимым от случайных попутчиков. Не говоря уже о том, что немыслимо в одиночку добираться верхом почти тысячу верст, если даже в комендатуре на него запишут служебную лошадедку. Да и где гарантия, что она через день-другой не околеет по неизвестной причине.

Но он не стал раскрывать свои карты перед Ушаковым, а высказался довольно неопределенно:

– Можно и так попробовать. Ты дойди до комендатуры, а я пойду к выезду из города и попрошаю кого из проезжих.

Ушаков без особых возражений согласился с ним и только поинтересовался, где им встретиться. Уговорились ждать друг друга возле православного храма, названия которого не знал ни тот ни другой, но найти его было не трудно. На этом они и разошлись. Мирович, расплатившийся с хозяйкой еще с вечера, вышел, простившись с ней, на улицу, а Ушаков принялся спорить, что цена слишком высока и нигде столько с путников от Пскова до Нарвы не берут.

Василий не стал ждать, чем закончится их спор, и двинулся вдоль по спускающейся вниз улочке к центру города. При этом он поглядывал на дома, мимо которых проходил, пытаясь по их внешнему виду определить, кто из хозяев может держать нескольких лошадей и согласится продать одну из них. Наконец он решительно свернул в один из переулков, куда вели следы оброненных при перевозке клочков сена и где дорога была хорошо наезжена проехавшими по ней санями. В конце переулка стоял большой, на подклети, дом, и ворота во двор были широко

распахнуты. Возле высокого крыльца стояла запряженная парой лошадей кошева. Возле нее прохаживался мужик в крашеном полушубке.

– Бог в помощь, любезный, – обратился к нему Мирович. – Не подскажешь, где можно добрую лошадку с санками купить. А то вот нужно часть свою нагнать, а как добираться, ума не приложу.

Мужик недружелюбно глянул в его сторону и тут же отвернулся, словно не расслышал. Тогда Василий повторил свой вопрос, но опять без всякого результата. Он хотел уж было идти дальше, как дверь в дом открылась и на крыльцо вышел осанистый мужичок низенького росточку в наброшенном на плечи кафтане. При этом он торопливо что-то дожевывал на ходу, отирая губы тыльной стороной ладони.

– Чего надо? – с вызовом поинтересовался он и тут же продолжил: – На постой не пушаем, у нас бумага на то особая есть, так что проходи, не задерживайся, неча добрых людей с утра пораньше в страх вгонять.

От такого приема Мирович несколько растерялся и подумал, что ему бы сейчас сгодился Ушаков с его наглостью и умением постоять за себя. Но и уходить сразу вот так не хотелось, потому он миролюбиво отозвался:

– Мне на постой вставать нужды нет никакой, потому как ищу, где бы лошадку с санками купить, чтоб своих нагнать.

– Вон оно чего. – Вышедший мужичок сразу сменил тон, когда речь зашла о покупке, и пояснил: – Ты уж прости за ответ мой, а то надоели солдатики ваши за все время, пока здесь у нас обитались. Порастащили все, что плохо лежало. Пьяными по городу с утра до вечера шатались, драки с нашими парнями затевали, за девками волочились, а потому надоели всем пуще чихотной травы. Не знали уже, кому и жаловаться, а все одно не помогает. Ты, погляжу, из благородных будешь и, видать, при деньгах, потому не сопрешь ничего, – откровенно признался он. – Посему стану с тобой иначе говорить. Айда за мной, покажу тебе лошадку, что давно продать собираюсь, может, и столкнемся... – С этими словами он бойко засеменил в сторону конюшни, возле которой было свалено несколько возов сена.

Мировичу ничего не оставалось, как пойти следом. Проходя мимо конюха Лехи, он кинул на него взгляд, но тот посмотрел на него с такой открытой неприязнью, что ему стало не по себе. В полутемной конюшне стояло три лошади, хозяин подвел его к одной из них.

– Вот Серуха моя. Коль за ней должный пригляд держать да не гонять без нужды, по послужит еще ого-го сколько! – и он похлопал ту по понуро склоненной голове.

Василий, хоть и не считал себя знатоком во всем, что было связано с лошадьми, но без-ошибочно понял, что Серуха эта прожила уже лишних несколько лет из отведенного ей срока. Понятно было, почему хозяин с готовностью готов был сбыть ее с рук. Выезжать на ней по каким-то своим делам он или стеснялся, или боялся, что обратно возвращаться ему придется своим ходом. Мирович на всякий случай поинтересовался:

– Она хоть сама ходит или ее поддерживать нужно?

Мужичок изобразил удивление на своем лице и всячески пытался показать несуразность услышанного им вопроса:

– О чем ты, ваше благородь, говорить изволите! Да она у меня с утра до вечера в работе: до дрова, то сено, то воду с реки на ней возим. И ест мало, и в корме не особо прихотлива, а уж послушна – другой такой тебе не найти.

– Короче говоря, водовозная кляча, – отмахнулся от него Мирович. – И сколько же ты за нее хочешь?

Мужичонка назвал цену, и теперь пришла очередь изумиться Мировичу:

– Да за такие деньги я могу наилучшего рысака купить, и седло, и сбрую, и еще серебряные подковы в придачу.

– Ой, насчет серебряных подков ты загнул, но цену, так и быть, снижу. Так ты не забудь, ты же еще и о санках спрашивал...

Они торговались добрых четверть часа, и Мирович даже устал уламывать стойкого барышника. В конце концов он решил пройтись еще и по соседним улицам, но хозяину сказал, что отправится посоветоваться с другом. Если тот даст согласие, то вернется обратно.

– Тогда я подожду, а то ехать по делам хотел, но уважу тебя, – крикнул тот вслед ему, когда он уже выходил за ворота.

Василий потратил еще час с небольшим, обойдя несколько домов, но везде, едва видели его военное облачение, был встречен неприветливо, если не враждебно. Видно, солдатики и впрямь изрядно здесь накуролесили, оставив по себе недобрую память поголовно всех жителей. Как только он заводил речь о покупке лошади, то или с ходу отказывали, или заламывали такую немыслимую цену, что в ином месте за нее можно было купить чистокровного скакуна. Мирович решил действительно посоветоваться с Ушаковым и отправился к месту их встречи, но Аполлона там не обнаружил, и тогда, решив, что по дороге он наверняка сможет с доплатой поменять кобылу на более приемлемую для поездки лошадку, решил вернуться обратно к хозяину, с которого и начал поиски. Тот и впрямь ждал его и тут же, завидев в окно, бойко выскочил на крыльцо и скатился вниз по ступеням.

– Что я тебе говорил, ваше благородие? Акромя меня, никого тут не найдете. Все или много раньше продали офицерам коньков своих, или задарма отдавать не станут. Так что на меня у тебя вся надежда, – весело затараторил он, а Мирович удивился, откуда тот мог узнать, что он ходил по соседним улицам в поисках коня, когда сослался, будто бы пошел за советом к своему товарищу.

Мужичок же, словно прочел его мысли, пояснил:

– От меня ничего не скроешь. Мы тут всем миром крепко повязаны. Как только ты ушел, так следом за тобой прибеж соседский мальчонка и поведал мне, как ты к ним во двор заходил и коня торговал. Так что все твои хитрости мне известны.

Мирович выругался про себя в сердцах и протянул хозяину половину от первоначально названной цены. Тот пересчитал, махнул неопределенно рукой и согласился:

– Забирай, но с уговором. Я тебе дам вместо извозчика племянника своего Шурку, он вас довезет куда надо, а потом на моей Серухе обратно вернется. Там тебе кобыла моя все одно не нужна станет, а мне еще сгодится для дворовой службы.

– А дорогу твой Шурка найдет? – спросил его Василий, подозревая, что тот чего-то явно недоговаривает.

– Где не найдет, там спросите. Да как ее не найти, когда уйма народу по ней прошла, и через год ту дорогу видно еще будет...

– И сколько лет твоему Шурке будет?

– Да вроде как пятнадцатый годок пошел, а точно не знаю. Его мать с отцом как померли о запрошлый год, так добрые люди его ко мне и направили. Смышленный парнишка не по годам, он тебе в дороге и сготовить чего сможет, и с кобылкой управится. Не пожалеешь, право слово. Где ты еще такого возчика найдешь?

Василия не оставляло чувство, что мужик явно неспроста вместе с заморенной кобылой подсовывает ему еще и пацаненка, но у него и впрямь выбора не было. Самому управляться с лошадью не хотелось, Ушаков тоже вряд ли изъявит к тому большое желание, поэтому он решил поступить согласно известной поговорке: «Будь что будет, а что будет – Бог даст» и особо возражать не стал.

Вскоре хозяин вывел во двор паренька невысокого роста, одетого в залатанный армяк и в стоптанных онучах. Он покорно подошел к Мировичу и низко ему поклонился.

– Спасибо, что согласились, барин, меня с собой взять, – негромко произнес он и бегом кинулся в конюшню выводить кобылку, а хозяин с молчаливым конюхом, все это время нахо-

дившимся близости, но не проронившим ни слова, выкатили на середину двора старенькие розвальни.

– Так я же просил санки беговые, а не крестьянские розвальни, – возразил Мирович, представив, как отнесется Ушаков к поездке в подобном экипаже.

– О чем ты говоришь, мил человек? Санки, что просишь, у меня всего одни, и самому нужны. А тебе хорошо будет в розвальнях ехать. Мы тебе соломки постелем, зароешься в нее и спи или просто лежи, никакая непогода тебе не страшна.

Не оставалось ничего другого, как смириться и с этим, и вскоре Василий, лежа на соломе, единственном, чего не пожалел прожиги-хозяин, выехал со двора, и они направились к православному храму, где, переминаясь от холода с ноги на ногу, его поджидал Ушаков. Когда Шурка притормозил возле него, а Мирович призывно махнул рукой, тот не сразу понял, что ему предстоит совершить дальнюю поездку на стареньких розвальнях, в которые была запряжена заморенная лошадка, а правил неказистого вида паренек. И тем не менее он тут же заскочил в сани и устроился рядом с Мировичем, спросив его:

– И куда он нас довезет? До ближайшего села, или кобыла его раньше дух испустит?

– Куда надо, туда и повезет, – победоносно усмехнулся Василий, осознав себя едва ли не впервые в жизни хозяином положения, и пусть не лучшего, но все же средства передвижения. – А тебе в комендатуре и такого не дали, как я погляжу? – не преминул он уколоть своего спутника.

– Да я не очень и просил, – отмахнулся тот, – у них все одно свободных лошадей нет, предложили подождать день-другой, но мне это предложение как-то не по душе. Поэтому не стал спорить и сюда пошел. И все же, куда мы едем?

– Я же сказал уже: куда нужно, туда и едем.

– В Кенигсберг? – усомнился Аполлон.

– Куда же еще? И парень, и лошадь с санями в нашем полном распоряжении, – со значением ответил Мирович.

– И где ты только выудил сокровище это? Неужели другого чего найти было никак нельзя? – не унимался тот.

– Ты же попробовал. Не получилось, так что теперь моли Бога, чтоб эта кобыла провезла нас хоть половину пути. И, как говорили древние римляне: «Faciunt meliora potentes»¹.

Ушаков, явно не знавший, как переводится это латинское выражение, потому как не учился в семинарии, насупился и надолго замолчал. Кобылка же, несмотря на свой почтенный возраст, как только они выехали за город, пошла ходкой рысью, а Шурка стал напевать что-то тягучее, и слова его песни различить было трудно. Потому вскоре оба путника мирно задремали на соломе, хорошо понимая, что изменить хоть что-то не в их силах и самое лучшее для них – это смириться и только надеяться на благополучное завершение их долгого путешествия.

5

Лишь на пятый день пути им стали попадаться унылые остовы сгоревших строений и сидящие подле них голодные собаки, жадными глазами провожающие всех, кто проезжал мимо. Несколько раз они обгоняли толпы людей, идущих подле дороги и тащивших на санях узлы с одеждой. У многих на руках были дети, завернутые в многочисленные платки и одежки. При виде проезжавших мимо саней они останавливались и недобро косились в сторону русских офицеров, словно они были виноваты в постигшей их беде. На постоянных дворах их встречали до десятка человек нищих, просящих милостыню или умолявших подать им хотя бы кусок хлеба.

¹ Пусть сделает лучше, кто может (лат.).

– Откуда они? – спросил Мирович у Ушакова. – Погорельцы, что ли? Почему так много?

– Неужели сам не понял? – ответил тот. – Наши солдатики постарались, а скорее всего калмыки, что наперед войска идут и рыщут кругом, забирая все подряд, чем только можно поживиться.

– Как же так? – не поверил Мирович. – Куда смотрят офицеры? Неужели они этого всего не видят? Это же форменный разбой...

– Называй, как хочешь, а я тебе точнее скажу: война это, братец ты мой. А потому принимай ее такой, как она есть.

Потрясенный Василий вынужден был согласиться с доводами Ушакова. Действительно, ни с того ни с сего все деревни в округе вспыхнуть почти одновременно не могли. Тут явно вмешалась чья-то злая воля. Он представил себя, как калмыки или кто другой врываются в дома ни о чем не подозревающих обывателей, выгоняют тех на улицу, а потом, уходя, сжигают все вокруг. Нет, как-то не вязалась нарисованная им картина с тем, что ему приходилось видеть до сих пор. Да, солдаты тишком могут что-то присвоить, забрать продукты, угнать скотину, вытоптать посевы, но поджечь дома и оставить их жителей без пищи и крова?! Этого он просто не мог себе представить.

И тут ему невольно вспомнились угнанные его солдатами овцы с мельницы, где живет Урсула. И тут его словно обожгло: «А как же она там? Жива ли?» Ведь воинские части не минуют их городок, и наверняка могла пострадать она сама и все ее семейство. Он пожалел, что они расстались, едва не рассорившись из-за того проклятого случая с пропавшими овцами. Ведь Урсула едва ли не его, Василия, обвинила в сокрытии воровства, а может, даже решила, что он мог быть и соучастником. И отвести это обвинение от себя он не мог, а потому разбился и ушел, ничего не сказав ей в ответ.

А потом было сражение... Поездка в Петербург... Ораниенбаум... Встреча с наследницей... Дуэль... Катенька Воронцова... И за всем этим водоворотом событий он лишь несколько раз вспоминал об Урсуле, но вспоминал всегда с нежностью и какой-то затаенной радостью, описать которую словами не мог. Если разобраться, то дамы, обратившие на него в Петербурге внимание, были для него недоступны, и знакомство с ними дало ему лишь повод думать о себе самом несколько иначе, нежели раньше. Он ощутил себя не просто мужчиной, но кавалером, для которого доступ в высшее общество неожиданно оказался открыт. «И столь же быстро закрылся», – добавил он про себя. И вряд ли теперь он может рассчитывать на вторичное приглашение в тот далекий и недоступный для него мир.

Зато Урсула – совсем другое дело. Она не требовала от него проявления излишней галантности или какого-то особого излияния чувств. Все было просто и естественно. Его влекло к ней, а ее к нему. И не было в том никаких преград. Разве что война, которую он все больше ненавидел, но хорошо понимал: просто так она его не отпустит. Разве что мертвецом или калеккой. В том и другом случае он будет уже не тем наивным юношей, мечтающим о романтических встречах и доступных радостях жизни, а совсем иным человеком. Каким? Он пока не знал. Но уж точно не тем юношей, пришедшим прямоком из кадетов в действующую армию. Он видел это по Ушакову, совершенно изменившемуся за время военной кампании. И вряд ли он сможет стать тем прежним беззаботным Аполлоном, насмотревшись и вкусив ужасов военного быта.

Мысли Василия вновь вернулись к Урсуле... И только сейчас он осознал, что вскоре их путь пройдет вблизи Инстербурга, а может быть, даже и через него. Его словно обожгла эта мысль! И он решил во что бы то ни стало навестить домик у мельницы и хоть издали увидеть девушку, мысли о которой почему-то все это время гнал прочь. И сейчас, вглядываясь в почерневшие остовы сгоревших изб, он понял, как она ему близка и дорога. Раньше он боялся даже думать о ней, понимая, насколько неосуществима их встреча. Разум сам отодвигал ее образ в дальние закоулки памяти и жил новыми впечатлениями, сыпавшимися на него ежедневно и

ежечасно, вытесняя своей реальностью все доброе и трепетное, жившее в нем прежде. Но вот пришло время, и сознание, переполненное впечатлениями от зверств и ужасов войны, вида сгоревших домов и беженцев, отказалось впитывать их дальше. И неожиданно вернуло ему старые, почти забытые воспоминания, когда он был счастлив и ощущал себя человеком, которого любят и ждут. Его собственная память пришла ему на помощь, оживив почти стершиеся часы простого человеческого счастья. И Василий понял, что это и есть единственное спасительное для него средство не растерять остатки живущей в нем доброты и человечности, не озлобиться на весь окружающий мир и на себя в первую очередь за то, что вынужден участвовать во всем происходящем, помимо своей воли и желания.

Когда они остановились на ночлег в переполненном военными постоялом дворе, рядом с которым помещалась вместительная корчма, Василий поинтересовался у хозяина, далеко ли еще до Инстербурга. Тот с недоверием взглянул на него и с неохотой ответил, что к концу второго дня они будут проезжать поблизости от него. Он же согласился с большой переплатой поменять окончательно выбившуюся из сил Серуху на мерина, которого, по его словам, оставил на содержание проезжавший мимо русский офицер, пообещавший потом отправить за ним своего денщика. Но Мирович понимал, что тот явно врет и конь ему наверняка достался задаром, но спорить не стал и велел Шурке с утра запрягать мерина, а кобылку оставить на постоялом дворе. Ушаков тем временем занял у Василия в очередной раз денег, прикупил в корчме кувшин вина, как он это делал практически во время каждой остановки. Говорить с ним вечерами Василию становилось все труднее, и он уже тяготился тем, что согласился на совместную поездку. Но и ехать меж сгоревших деревень практически в одиночку, Шурка был не в счет, было просто опасно. Там наверняка бродили банды мародеров, а то и местных удалцов, которые под шумок грабили и своих и чужих. Одинокий путник станет для них желанной поживой. Зато паренек оказался сущей находкой, и за время пути у него с Мировичем установились почти дружеские отношения. Однажды во время ночевки он поинтересовался у паренька, с чего это дядька так легко согласился отпустить его с ними, на что тот, не задумываясь, ответил:

«По жадности своей. Боится, как бы я не объел его. Вот и прогнал прочь, можно сказать».

Василий подозревал что-то подобное, но тут паренек внес окончательную ясность. Получалось, что еще одним неприкайным человеком на свете больше стало. Не зная, что ответить, спросил, как тот собирается возвращаться обратно один, тем более, что его там не особо ждут. На что Шурка откровенно признался:

«Зачем мне возвращаться обратно, когда никто тому рад не будет? Ни я, ни он... Осмотрюсь и пристану к кому. Да хоть к вам, коль возьмете с собой...»

Мирович ожидал чего угодно, но только не такого поворота дел. Однако, чуть подумав, решил, что может поговорить с начальством и поставить паренька на довольствие как своего денщика, положенного ему согласно недавно полученному званию. Тот и сейчас, распознав в нем с самого начала пусть не своего хозяина, а скорее покровителя, норовил услужить ему и всегда подкладывал лучшие куски, если удавалось добыть и приготовить еду во время остановок на ночлег. Про таких людей принято говорить: легок на ногу. И Сашок действительно, как только подъезжали к постоялому двору, где за каждый черпак жидкого супа и краюху хлеба драли втридорога, сломя голову мчался до ближайшего дома и там выторговывал то окорок, то курочку, а иногда приносил полный кувшин молока, а уже опустевший всегда успевал ранним утром вернуть хозяевам.

Потому Василий решил, не посвящая в свои планы Ушакова, посоветоваться с Шуркой насчет своего визита на мельницу, надеясь найти там Урсулу. Ему совсем не хотелось открывничать об этом с Аполлоном, и он гадал, как бы сделать так, чтобы тот ни о чем не догадался, пока он будет отсутствовать. Впрочем, сделать это, учитывая его пристрастие к вечерней выпивке, было не так трудно. Главное – это узнать дорогу на Инстербург. Сейчас они ехали по

пути, проложенному недавно прошедшей здесь армией, пропахавшей снежную равнину напрямик, по целине, утрамбовав ее тысячами ног и саней, сократив тем самым старый, тянувшийся от одного селения к другому маршрут. И вышло так, что старый тракт, хорошо известный местным жителям, остался в стороне от вновь проложенного и найти нужное село и городок человеку, впервые попавшему в эти края, было почти невозможно. Иногда им попадались маячившие вдали силуэты небольших городков, названия которых они не знали. Туда явно должны были вести проезжие дороги. Но как их найти, когда нет даже указателей, а тем более карт не очень-то великой, но незнакомой стороннему путнику прусской земли.

– Слушай, Сашок, – спросил его Василий, дождавшись, когда Ушаков вышел на улицу. – Просьба у меня к тебе небольшая будет. Не откажешь?

– Как я могу, Василий Яковлевич? – с готовностью отозвался тот. – Из продуктов или одежды чего достать изволите?

Он с самого начала звал Мировича по имени и отчеству, хотя к Ушакову обращался не иначе как «ваше благородие», подчеркивая тем свое отношение к тому и другому.

– Нет, не угадал, с едой у нас все в полном порядке благодаря тебе. А надо мне узнать у кого из местных, как нам попасть в городок, называемый Инстербургом.

– Даже не слышал о таком, – покрутил головой Шурка. – А где он есть?

– На днях мимо него проезжать будем. И если дорога мимо него лежит, то надо нам непременно в него заехать. И лучше дотемна... Понял меня?

– Как не понять! – в раздумье ответил тот. – Ему о том знать не следует? – он кивнул на дверь, за которой скрылся Ушаков.

– Все правильно понимаешь, ни к чему Аполлону о том говорить. Надо подумать, как его на время одного оставить, а самим съездить по нужному мне делу. Так что ты узнай незаметно от Аполлона и меня извести, когда к этому самому Инстербургу подъезжать станем.

– Понял, – с готовностью кивнул тот головой. – Постараюсь разузнать все, что надо, – пообещал Шурка. – С людьми говорить у меня получается. Хотя и не со всеми, – тут же поправился он. – Иные до того злы на нас, русских, что не говорят, а только шипят чего-то сквозь зубы, будто не понимают, о чем их спрашивают. Но другие ничего, хоть и ругнут для начала, а потом смягчают.

Мирович не знал, что ему ответить на это, тем более вернулся Аполлон и нетвердой походкой прошел мимо них к столу. Шурка же заговорщически подмигнул Василию, обозначив свое соучастие с ним в пусть небольшом, но все же сговоре. На другой день он тайно сообщил, что дорогу узнал и на вторые сутки они должны будут проехать через этот самый Инстербург, узнать который можно по холму, на котором стоит местная кирха.

6

Действительно, после обеда они подъехали к развилке дорог. Одна вела к видневшейся вдали реке, а вторая – в сторону городка, который Мирович безошибочно узнал по прежним своим воспоминаниям, и сердце его тут же радостно забилося. Русская армия прошла мимо, поэтому не было видно зловещих пепелищ и толп беженцев. Вскоре они без особого труда нашли постоялый двор, где не было ни одного приезжего. Ушаков, словно что-то заподозрив, стал ворчать, что они слишком рано остановились, а могли бы еще до темноты проехать какое-то расстояние, а там, глядишь, и до Кенигсберга останется совсем чуть. На что Шурка в ответ заявил ему, что дорога была трудная и лошадь устала, а еще неизвестно, где они смогут обнаружить свободный постоялый двор, а потому самое лучшее остаться здесь. Мирович не стал дожидаться, когда Аполлон обратится к нему с очередной просьбой взять денег взаймы, и сам попросил хозяина принести кувшин вина, после чего ворчание его попутчика само собой прекратилось, и он тут же уселся за стол в ожидании обещанного угощения.

Василий давно заметил, что попутчик его трудно переносил дорогу. Может, тем и объяснялось его постоянное желание выпить перед сном, чтобы хорошо выспаться. Все последние дни он ходил, словно в полусне, и постоянно интересовался, долго ли еще им ехать. Вот и сейчас он не допил даже стакана вина и задремал за столом. Сашка с Мировичем растолкали его и проводили в соседнюю полутемную комнату, где он быстро уснул.

Кобылку свою Сашка успел подкормить заранее припасенным овсом, и она выглядела довольно бодро, да и ехали они сегодня благодаря Сашкиной сообразительности тихим шагом, так что к недолгой поездке она была готова. Еще не начало смеркаться, а они уже выезжали в сторону развилки. Лошадь сразу поняла, что они повернули в сторону дома, и прибавила шаг.

В сам городок они заезжать не стали, а нашли дорогу, тянувшуюся в сторону холма. Но сколько Василий ни вглядывался, а той рощи различить не мог. Когда поднялись к вершине, то Мировича поразила безжизненность пейзажа, представшего его глазам. Исчезла роща, где некогда его капральство заготавливало дрова и в глубине которой он встретил Урсулу и ее брата. То ли сами жители, то ли солдаты вырубili ее полностью, и сейчас под снегом нельзя было найти пеньки от деревьев, что должны были остаться на месте вырубки. Василий вначале даже подумал, уж не ошибся ли он дорогой и в ту ли сторону они едут. Но другой дороги просто не было, да и та, по которой они пробирались, едва давала о себе знать узкой санной колеей, тянувшейся к вершине холма. И лишь когда они на него въехали и приблизились к пологому спуску, то вдаль увидели мельницу и домик под черепичной крышей, из трубы которого вился едва приметный дымок. Шурка ворчливо понукал лошадь, с трудом взобравшуюся на холм, и время от времени поворачивал голову к Василию, интересуясь, не сбились ли они с пути. Наконец дорога пошла под уклон, и вскоре они подъехали к воротам наполовину замеченного дома мельника.

Василий выскочил из саней и в нерешительности подошел к калитке, не зная, что предпринять дальше. Вот и сбылась его мечта: он находится вновь на том месте, где когда-то впервые ощутил себя по-настоящему счастливым, но вот только не сумел сохранить, сберечь в себе то хрупкое чувство и растерял его в череде будничных дней.

«Зачем я здесь?» – спросил он сам себя и не мог найти ответа. В глубине души он желал вернуть и возродить в себе ту утрату, поскольку, как искренне считал, она была обронена им ненароком, случайно, словно какая-то вещь, забытая на одном из многочисленных постоялых дворов во время поездки. Так и сейчас он ждал, что, увидев Урсулу, вернет почти умершее, но все еще иногда вспыхивающее в нем чувство радости от встречи с девушкой, и тогда он, обретя его, уже не расстанется с ним, а будет дорожить и лелеять, не давая угаснуть до конца. Других желаний у него просто не было, и он даже не мог четко сформулировать ответ, если бы кто-то спросил его, зачем он вновь здесь.

Он бросил взгляд в сторону замшелого валуна, видневшегося вдаль на берегу замерзшей речки, пытаясь пробудить воспоминания, но вместо них ему почему-то вдруг вспомнился бал в Ораниенбауме и лицо жены наследника, ее мягкий вкрадчивый голос и устремленные на него глаза. Она и сейчас присутствовала рядом с ним и с усмешкой вглядывалась в его понурую фигуру, робко застывшую подле закрытых ворот семейства мельника. Василий зло выругался, стараясь прогнать навязчивый образ, и в этот момент послышались чьи-то тяжелые шаги, потом приоткрылась калитка, и он увидел через небольшую щель заросшее щетиной лицо мельника Томаса, недоверчиво разглядывающего его.

– Что надо? – спросил он сухо, не спеша выходить наружу. – Мне нечего вам дать, все уже давно забрали: и зерно, и муку, а нового привоза давно не было. Так и передайте это тем, кто вас сюда послал.

Он хотел закрыть калитку и уйти обратно в дом, но Мирович не дал ему этого сделать. Подойдя ближе, спросил:

– Герр Томас, неужели вы не узнали меня?

Тот с удивлением повернулся в его сторону, и унылое выражение его лица сменилось вдруг удивлением, густые брови сдвинулись на лице. Он слегка прищурился и, наконец вспомнив что-то, спросил осторожно:

– Вы тот русский офицер, что встречался с Урсулой?

– Да, конечно, это я, Василий, – радостно отозвался Мирович, ожидая, что наконец-то рассеются все недоразумения, вызванные его появлением. Но мельник был далек от радости и спросил сурово:

– Зачем пожаловал? Тебя тут никто не ждал. Ты поступил *sehr schlechte, weggehen...* – Потом, поняв, что Василий мог не так истолковать его слова, добавил по-русски: – Ты есть плохой человек, что бросил мою дочь. Уходи отсюда, пока я не взял в руки топор, – и вновь попытался закрыть калитку, но Мирович опять не дал сделать ему этого и извиняющимся тоном попросил:

– Скажите, где Урсула? Я приехал повидаться с ней... Умоляю, не прогоняйте меня, мне очень нужно встретиться с ней.

При этом Василию стало неловко, что сидящий в санях Шурка слышит их разговор, но он не мог его прогнать, как это сейчас сделал с ним мельник. Внутри у него вдруг закипела злость, и он переменял прежний просительный тон и властно заявил:

– А ну, зови Урсулу, а то я с тобой иначе говорить стану! А за топор схватишься, пристрелю, как собаку. Не забывай, с кем разговариваешь! Я русский офицер, и в моей власти поступать так, как считаю нужным, – с этими словами он распахнул епанчу и поправил заткнутый за пояс пистолет.

Лицо Томаса помрачнело, весь он как-то осунулся и, ни слова не сказав, отправился, шаркая подошвами старых сапог, в дом. Мирович был уже сам не рад неожиданно проявившейся вспышке гнева, родившейся неизвестно по какой причине. Сейчас, слегка остыв, он даже не мог себе объяснить, что с ним произошло. Может, сказалась запоздалая реакция на петербургские события, недовольство всем, чем бы он ни занимался: Ушаковым, видом пожарниц, оставшихся после продвижения русской армии в глубь страны... Так или иначе, ему стало неловко перед старым мельником, которого он незаслуженно обидел, и захотелось войти в дом и извиниться перед ним. Но больше всего Василия угнетало чувство вины перед Урсулой, которой он ни разу не дал знать о себе более года.

– Долго ждать еще? – окликнул его Шурка, так и не вылезший из саней. – Лошадку бы покормить, а то за день ее ничем не угостили. Вон там сено какое-то лежит. Хозяева не заругаются, коль поест чуть? Что скажете, Василий Яковлевич?

Мирович махнул рукой в его сторону, давая понять, что тот может поступать по своему усмотрению, и вновь принялся ждать. Шурка же развернул лошадь и подъехал к сену, сложенному возле забора, потом вышел из саней и вынул удила изо рта лошади, после чего она принялась аппетитно хрумкать запревшее сено, лежавшее там непонятно с каких пор.

Наконец послышались чьи-то легкие шаги, и со двора навстречу Мировичу вышла Урсула. Она с удивлением смотрела на него своими широко открытыми васильковыми глазами и, чувствовалось, порывалась убежать обратно, но какая-то сила удерживала ее на месте, словно она увидела что-то страшное для себя и в то же время притягательное. На голове у нее была серая вязаная шапочка, а на плечи наброшена легкая накидка, отороченная лисьим мехом. Она сильно изменилась после их последней встречи, став по-женски статной и от этого еще более привлекательной.

Мирович сделал несколько шагов ей навстречу, но она вся сжалась и тихо что-то прошептала.

– Что ты сказала? – переспросил ее Василий, не расслышав. – Не ждала? Извини, то не от меня зависело. Война...

– А ты совсем другой стал, – сказала она, вглядываясь в него. – Отец даже не узнал тебя поначалу...

– В чем другой? Постарел? – попробовал пошутить Василий. Но она не приняла шутки и покачала головой, повторив:

– Просто другой... – Потом через паузу добавила: – Чужой совсем. Я уже и думать о тебе перестала. Думала, умер или уехал.

– Да что со мной сделается? Глядишь, поживу еще... – вновь, как бы шутя, ответил Василий, хотя понимал, что шутки сейчас неуместны и что девушка ждет от него совсем других слов.

Тогда она задала вопрос, которого Василий боялся больше всего, поскольку не знал, что на него ответить:

– Зачем приехал?

– Тебя увидеть, – ответил он единственное, что пришло ему в голову. – Не рада? Мне очень хотелось повидаться с тобой. Сама понимаешь, война не закончилась, а я состою при армии. В одном сражении уже побывал, а сколько их еще будет, кто знает... Всякое может случиться...

– Я понимаю, ты солдат и должен воевать. Но я тебя в армию не звала. Говорила: оставайся...

– Ты так не говорила, – торопливо прервал ее Мирович.

– Пусть не говорила, но думала, а ты знал, о чем я думала. Понимал, на что идешь.

– Не я ту войну затеял.

– Да, но ты в ней участвуешь.

– Я солдат, и никто меня не спросил, хочу я воевать или нет. Но я все это время думал о тебе, – выдавил он из себя почти через силу, понимая, что говорит не всю правду.

Урсула словно прочитала его мысли и усмехнулась, но ничего в ответ не сказала. Мирович тоже не знал, как продолжить разговор. Он совсем иначе представлял себе их встречу и никак не ждал подобной холодности от Урсулы. А сейчас был окончательно сбит с толку, тем более что в дом его не приглашали. Меж тем уже почти совсем стемнело, и надо было возвращаться обратно, чтобы не сбиться с едва видной дороги. Но и вот так, ничего не сказав девушке, он уехать не мог.

– А где твой брат? Его, кажется, звали Петер? Правильно? – наконец нашелся он, что спросить.

– Он в армии...

– В вашей армии? – уточнил Василий, понимая, что вряд ли его могли взять в русскую армию.

– Нет, – ответила Урсула. – В армии прусского короля. Мы живем на его земле.

– Так он же совсем мальчишка? – воскликнул Василий.

– Сейчас мальчишки быстро становятся мужчинами. Как ты, например...

– Да, не ожидал этого, – неопределенно высказался Василий, все откладывая главную тему их разговора. – Как твой жених поживает? – решился он задать вопрос, который больше всего мучил его.

– Наверное, неплохо живет. Я его давно не видела. Он женился этой осенью и у нас больше не показывается.

– Он же хотел на тебе жениться? – со вздохом спросил Василий, которому стало сразу легче от этого известия. Значит, Урсула отказала тому, а потому оставалась хоть слабая, но надежда, что она до сих пор ждет его, Василия.

– Кому нужна девушка с ребенком? – все с той же злой усмешкой ответила Урсула. – Таких, как я, добрые люди замуж не берут.

– С каким ребенком? – растерялся Василий. И только тут до него дошел смысл сказанного, и он почувствовал холодный пот, выступивший у него на лбу. – Ребенок? А чей это ребенок?

– Как чей? Мой ребенок. Мой, и ничей другой.

– А отец его кто? – Василий хотя и понимал бессмысленность своего вопроса, но хотел услышать ответ именно от Урсулы, чтобы не жить одними догадками.

– Зачем это тебе? – ответила она, опуская глаза в землю. – Мой, и все тут.

– Нет, ты скажи мне. Все скажи, – не унимался он, – я имею право знать. Ведь он и мой тоже. Так ведь?

– Разве это важно? Тебе нет до него никакого дела, вот и живи дальше. Я не хочу быть тебе в тягость. Иди, воюй дальше, пока тебя не убили. Я поняла, что не нужна тебе.

– Скажи хоть, кто родился? Мальчик? Девочка? – умоляюще спросил Василий.

– Мальчик.

– И как назвала?

– Петер.

– По-русски, значит, Петр?

– Пусть будет так...

– Ты назвала его так в честь брата?

– Правильно. Мой брат на войне, и неизвестно, вернется ли обратно. А так, скажешь: «Петер» – и будто бы он дома, рядом с нами.

– А хотя бы глянуть на него можно? Пусть даже издали. Прошу тебя, Урсула. Я же не знал, что у меня появился сын. Это все меняет...

– Ничего не меняет, – жестко отрезала она. – Он сейчас спит, поэтому показать его не могу. Приезжай завтра, только со своим сеном, а то нашей корове до весны не хватит, – кивнула она в сторону лошади, жевавшей сено у забора. – Если ребенок не будет спать, то, может быть, и покажу...

– Мне завтра нужно будет дальше ехать, вслед за армией. Тут никак нельзя остаться. Тем более, я не один, а с товарищем.

– Значит, будешь жить и дальше так, как раньше жил. Без нас. А мы уж как-нибудь сами тут проживем. Может, найдется добрый человек и пожелает взять меня с Петером в жены. Все во власти Бога.

Мирович не знал, что сказать ей в ответ. Да и что он мог сказать? Что закончится война и он, коль останется жив, заберет ее отсюда? Но куда заберет? В Петербург? В Тобольск? А где и на какие деньги они будут жить? Пока он служит в армии, можно не заботиться особо о своем будущем. Но что ждет его после окончания войны, он даже не мог себе представить. Потому он подошел к Урсуле, притянул ее к себе и поцеловал в выглядывающее из-под шапочки ее нежное маленькое ушко.

– Милая, родная, – зашептал он нежно. – Прости меня Христа ради. Такой вот я непутевый отец оказался. Но я обязательно что-нибудь придумаю, и у Петра будет отец. Обещаю тебе. Клянусь, – добавил он для верности, хотя в этот момент не знал, как сможет исполнить второпях данную клятву. Но сейчас ему казалось, будто бы он в состоянии все изменить, исправить, найти выход и сделать ее и ребенка счастливыми. Лишь бы быстрее закончилась эта уже порядком надоевшая ему война, а там все должно измениться...

Урсула с усилием отстранилась от него, внимательно взглянула ему в глаза, и легкая усмешка скользнула у нее по лицу.

– Не знаю, можно ли верить тебе. Один раз я уже поверила и дала волю своим чувствам, а вот теперь жалею, – тихо проговорила она.

Мирович вновь попытался прижать ее к себе, желая тем самым показать, что она ему не безразлична и ему так не хочется уезжать. Но девушка встряхнула головой, отчего из-

под шапки упали ей на плечи мягкие золотистые волосы. Тогда Василий быстрым движением выхватил дорожный нож и, не спросив разрешения, срезал прядку у самого конца ее чудного солнечного убранства. А потом, не глядя на удивленную и напуганную девушку, достал из кармана клубок ниток, который всегда брал с собой в дорогу, оторвал кусочек и замотал в тонкий жгутик добытой им пряди.

– Он будет хранить меня в бою и напоминать о тебе, – пояснил он. – Ты испугалась, да? – спросил он Урсулу, поскольку испуг так и не исчез из ее глаз.

– Зачем ты так? – только и спросила она. – Словно украл часть меня... Сказал бы, я бы вынесла ножницы и сама отрезала.

– Что теперь говорить! Дело сделано, – не захотел он пояснять причину своего поступка. – А вдруг бы не согласилась? Ты ведь такая, можешь подумать чего. Только мне уже пора, давай прощаться. Не знаю, когда в следующий раз смогу навеститься. Ты прости меня за все, – в очередной раз повторил он. – Скажи только: ждать будешь?

Девушка ответила не сразу, словно обдумывала про себя что-то важное, но не хотела в том признаваться. Потом плотно сжала губки и отрицательно качнула головой. В это время из дома послышался детский плач, и Мирович, уже собравшийся идти к саням, на мгновение застыл, словно пронзенный молнией, потом рванулся в дом, но Урсула встала у него на пути, не желая пропускать в калитку. Василий отодвинул ее плечом в сторону, пробежал по двору, вскочил на высокое крыльцо и толкнул дверь. В комнате стоял Томас и держал на руках проснувшегося малыша. Василий подскочил к старому мельнику и выхватил ребенка у него из рук. Томас растерялся, но потом, решив, что ребенка хотят похитить, вцепился Василию в руку и что-то закричал на своем языке. Следом в дом вбежала плачущая Урсула и бросилась помогать отцу. Но их сил не хватило, чтобы погасить порыв Мировича, который крепко прижимал сына к себе.

– Да оставьте вы меня! – крикнул он, отбиваясь. – Только чуть поддержку и отдам обратно. Дайте глянуть хоть, как он выглядит, сын мой...

Лишь тогда Урсула с Томасом с неохотой отпустили его и отступили чуть в сторону. Василий же с восторгом глядел в личико малыша, который совсем не испугался, оказавшись в руках незнакомого ему человека. Он еще какое-то время разглядывал его, стараясь запомнить каждую черточку, потом осторожно чмокнул в лобик и передал Урсуле со словами:

– Весь в меня! Береги его и жди, когда с войны вернусь. Теперь я знаю, куда мне следует ехать. А потом решим, как дальше жить станем.

Он бережно поцеловал Урсулу в щеку, махнул рукой Томасу, решив, что он вряд ли ответит на рукопожатие, и вышел во двор, откуда направился к саням, где его с нетерпением поджидал замерзший Шурка.

– Все, едем! – скомандовал он. – Надо до темноты в город успеть, а то что-то беспокойно у меня на душе, как там себя друг мой Аполлон поведет, коль нас хватится. Не натворил бы чего спяну.

7

Когда они взобрались на холм, то увидели, как на фоне вечернего заката по небу медленно проплыла огромная стая галок, возвращавшаяся в город со стороны раскинувшихся на севере полей. Было что-то зловещее в их неспешном полете, и Шурка, зябко поводя плечами, крикнул:

– Ой, не к добру это.

– Откуда они взялись? – спросил его Мирович.

– Так, видно, хлеб по осени не успели убрать из-за войны, мужиков-то всех позабিরали, вот они и кормятся там.

– Тогда точно не к добру, – согласился Василий. – Как бы голоду не было, тогда и нам хлеб неоткуда будет взять.

Лошадь едва брела по неглубокому снегу, и Шурка не спешил подгонять ее, понимая, что ехать им еще несколько дней, а околеет она, то и вовсе они застрянут где-нибудь в поле. Ушакова они застали мирно спавшим на лавке возле пустого кувшина. Других постояльцев, кроме них, не было, и Мирович, отказавшись от предложенного хозяином ужина, тут же улегся спать, не дожидаясь, пока Шурка распряжет и накормит уставшую за день лошадку. Закрыв глаза, он вдруг увидел себя как бы со стороны, державшим в руках запеленатого младенца, и горько подумал: «Радоваться мне или печалиться, ставши отцом? Вроде хорошо, что у меня появился наследник, но вот только что ему придется наследовать? Что смогу оставить после себя? Разве что свою шпагу. Прямо как у Кураева... Он тоже ходит со шпагой отца... Но вот если бы мне вернули отцовские земли, то было бы, куда привезти Урсулу и собственного сына...»

Он еще некоторое время думал об этом, а потом незаметно уснул с надеждой, что рано или поздно добьется своего и тогда заживет совсем иначе, а Урсула родит ему еще детей. Когда Шурка вернулся с конюшни, то заметил на лице Василия блаженную улыбку, что его весьма озадачило, поскольку раньше тот лишь скрипел во сне зубами, словно сражался со всем миром.

А Василию снился его дед, славный казак Иван Мирович, много лет водивший полки и против татар крымских и ляхов ненасытных. Он внушал внуку:

«Помни, чьих ты кровей будешь, не поддавайся никому, дерись до смерти с каждым, кто тебя обидел. Ты, внуче мой, для великих дел рожден. Придет время, сам обо всем узнаешь и поступишь, как положено истинному царю...»

«А почему царю? Разве я царь?» – спрашивал его во сне Василий.

«Каждый человек царь супротив других людей, только не все то понимают. А ты знай, что царской породы и неча тебе яшкаться с москалями и убогими офицерами. Не ровня они тебе. А цена твоя – быть главным среди других. С тем и живи...»

Утром, проснувшись, Василий разыскал Сашку и спросил:

– Ночью на квартиру к нам никто не заходил?

– Да двое нищих постучали. Старики древние... Хозяин пустил их обогреться, а под утро они сами ушли, я уж и не видел, когда то было...

– А спать они где легли? Не подле меня?

– Нет, прямо на кухоньке у печи, сама печь-то занята. Один, правда, заглянул к вам, поглядел так, лучину в руке подержал, пошептал что-то и вышел. А что, пропало чего? – всполошился он, понимая, что Василий неспроста задает вопросы.

– Да вроде бы как ничего не пропало. Слышал ночью, ходит кто-то... Вот и спрашиваю...

– Тогда ладно. А то за такими глаз нужен: сопрут чего, потом ищи-свищи ветерок в чистом поле.

– Скажи мне, а как тот старик выглядел? – не унимался Василий, хотя сам не понимал, зачем ему знать о том.

– Обычно выглядел: старый такой, высоченного роста, на вас чем-то обличьем похожий, нос тоже с горбиком будет. Только у него усы висели по самую грудь, а бороды нет. Я еще подумал, на него глядячи: не растет, что ль, борода у дедка того, а усища вон какие знатные.

«Он, это он был, дед Иван, – пронзило Василия. – Зачем он приходил, если в земле давно лежит? И говорил со мной как-то странно... Про царя, про род царский... Или впрямь приснилось все, а дед случайно тут оказался?»

Но тут ему вспомнилась картина, висевшая в спальне у бабки Пелагеи, где был изображен похожий на церковного святого человек с длинными усами и с ясным, немигающим взглядом пылливо уставленных в пространство глазниц. Он так и считал в детстве, что это икона, поскольку бабка часто стояла перед ней на коленях и что-то шептала. Но потом ему

разъяснили, то это писанка его деда, покойного полковника Ивана Мировича. Правда, особых подробностей из жизни полковника, бывшего его дедом, ему не сообщали, а потому он как-то особо не задумывался о картине в бабкиной спальне.

Так ни в чем и не разобравшись, он торопливо собрался и плюхнулся в сани, куда Сашка набросал свежего пахучего сена, то ли украденного, то ли выпрошенного у хозяина. А какое ему дело до всего этого? У него никак не шла из головы клятва, которую он дал Урсуле, что ребенок их не останется без отца. Ему хотелось чувствовать себя отцом и знать, что после него останется зернышко, от которого заколосится нескончаемая нива их рода.

А пока что Мировичу не терпелось поскорее добраться до своей части и оказаться если не дома, то хотя бы среди близких и знакомых людей. Мечтать о доме пока не приходилось. Да и не было у него никогда этого самого дома, что принято среди прочих людей считать родным кровом. Не то что дома, а даже своего угла и то сроду не имел. Поэтому не ощущал он себя человеком домашним, привязанным к чему-то или к кому-то.

В свои два десятка с небольшим годков жил он птицей перелетной, у коей разорили гнездовье и вынудили скитаться в поисках непонятно чего, вечно перелетая и перепархивая с места на место. Печать безвременья лежала на нем, словно клеймо на каторжнике, да и был он сыном и внуком каторжников, попавших в немилость власти верховной. И сколько он ни живи, сколько благих дел ни сделай или даже соверши подвиг немыслимый, все одно скажут ему козь не в лицо, то в спину: «Каторжник» и иного слова на его счет не сыщут.

И что удивляться, козь не видел он ни в чем своей нужности, необходимости в том мире, где жил, даже не зная, зачем ему эта жизнь дана и на что ее употребить. Он часто видел сны, подобные сегодняшнему. Только ему все больше снились разные генералы да офицеры, украшенные сабельными шрамами за лихие бои, и в богатых мундирах, увешанных орденами. А чаще всего где-нибудь в замызанной халупе, укрытый своей протертой до полного непотребства епанчой, видел он один и тот же сон: открываются двери бедного его пристанища, и внутрь входит в сиянии факелов, весь осыпанный инеем, гвардейский офицер и спрашивает:

– Мирович Василий сын Яковлев здесь обитает?

Василий поспешно вскакивает, смущенный убожеством своей обители, вытягивает руки по швам, представляется.

Офицер же, отдав честь, трубным голосом провозглашает:

– Вам возвращены имения и доброе имя предков ваших. Государыне известно о страданиях ваших и подвигах, что вы изволили совершить, а потому вас немедленно требуют в столицу ко двору, где вам вручат доверенность на право владения имениями и орден Андрея Первозванного за боевые заслуги.

С такими мыслями Василий ехал в полк, совершенно не представляя, что его там ожидает.

8

Майор Княжнин, в батальоне которого служил Василий Мирович, был донельзя занят важным и пренеприятным для него делом по составлению отчета для вышестоящего начальства. Там следовало точно и доподлинно указать численность личного состава в подведомственном ему батальоне, прибывшем вместе со всей армией в Кенигсберг. По имевшимся у него сведениям, во время зимнего перехода около двух десятков человек по неизвестным причинам не прибыли в конечный пункт назначения и не оказались в списках расквартированных по квартирам. Теперь в своем отчете майор Княжнин должен был объяснить причину их отсутствия, куда и по какой надобности они подевались, а там, наверху, уже решат, объявить ли их в розыск или причислить к умершим. Во время марша капралы, а то и прапорщики на словах сообщали ему о потерях нижних чинов со словами: «Отстал такой-то, отсутствовал на

перекличке, отправлен на излечение...» и тому подобное. Но майор надеялся собрать все эти сведения воедино, будучи свободным от остальных походных дел и, как любой нормальный мужик, терпеть не мог заниматься ежедневными писульками, поручив чернильную работу своему писарю Харитону Семухе.

Когда тот был вызван для доклада, то смущенно промямлил, будто бы все записи у него остались где-то в обозе, изрядно отставшем от маршевой колонны. Княжнин в сердцах брякнул кулаком об обеденный стол, где он расположился со своими перепачканными в саже и сальных подтеках бумагами, и обозвал того балабаном и блудливой размазней, на что писарь обиженно поджал вечно влажные губы, шмыгнул носом, пообещал отыскать свои записи по прибытии обоза. Но майор знал, чего стоят его обещания, и с радостью отправил бы писаришку рядовым к самому яростному капралу, но вряд ли бы смог найти кого-то более подходящего. У этого хоть рука была твердая и надписи четкие, буквы стояли ровно, а не валялись в разные стороны, как подгулявшие солдатушки. А пришлют другого, пусть и грамотного, но такого же вися с дурным нравом, а чаще всего и изрядного пьянчужку. У Княжнина за время его службы перебывало с десяток писарей, и все они, словно братья от отца-пьяницы, при любом удобном случае напивались до состояния риз, теряли бумаги и письменные принадлежности. Битье помогало, но не надолго, а спрос за не вовремя поданную бумагу был с Княжнина. Писарей начальство не трогало, и все упреки в свой адрес приходилось выслушивать в присутствии других полковых офицеров только ему одному.

– Пшел вон, телячья твоя башка! – рявкнул Княжнин на Харитона и вновь принялся писать отчет, близоруко щурясь на чернильные строки.

Недолго поразмыслив, он указал большинство отсутствующих как «занемогших», а там пущай ищут имена их среди лекарьских отчетов. Двоих он все же подал как «отставших по личным надобностям». А потом вспомнил о подпоручике Мировиче, еще до Рождества вызванном в Петербург. С тех пор никаких вестей о нем или от него лично майор не получал, а потому отложил перо в сторону и потянулся за табаком, набить трубку и хорошенько при том поразмыслить о написании правильной формулировки.

Причислить подпоручика к больным он не мог, поскольку лазаретные списки обер-офицерского состава, как он знал доподлинно, немедленно доставлялись командиру полка, имевшему особое пристрастие лично проверять тех болящих. К «убиенным» он тем более не мог его причислить по той же причине. Указать же правильно истинную причину убытия того в столицу он не мог из-за того, что много раньше подал рапорт в полковую канцелярию о командировании Мировича, приложив туда же полученное им распоряжение из какого-то там ведомства. А вот сейчас он никак не мог вспомнить, кем оно было подписано. Но оно было не так и важно. Главное – требовалось правильно указать причину его отсутствия. Написать «убыл в столицу» было бы неправильно, поскольку канцелярские служки обязательно потребуют от него указания того ведомства, куда Мирович направлен. А Княжнин, как на грех, не помнил, куда...

Да и где он сейчас есть, этот самый Василий Мирович? Напишешь не то и не так, а его, может, уже в гвардию зачислили? Кто их знает, этих петербургских выскочек... Хотя может статься и так, что не в гвардию, а в ссылку в Сибирь, а еще паче в каземат на долгий срок. В столице с тамошним офицерством следует ухо держать востро, иначе получишь по сопатке, а то и по всей форме могут законопатить в такую щель, откуда и свету божьего не разглядишь...

Но только кто ему, майору Княжнину, сообщит о том?! Да на хрена им, столичным прихвостням, утруждать себя писанием бумажек разных. Им и без них дел хватает, каких вот только, поди, догадайся. Нет, нужно где-то прознать про ентого Мировича правду хоть какую, отписаться, а потом срочнейшим образом искать ему замену, о чем опять же следует срочно подать рапорт.

Получалось, что нужно немедленно ехать в штаб полка и там выяснять, кем был вызван Мирович в столицу. Но потребуется время, пока будет найдена соответствующая бумага. Мало того, штабные сидельцы наверняка сошлутся на занятость и предложат явиться за ней на следующий день. А дел в батальоне выше головы, и ему, майору Княжнину, некогда разъезжать туда-обратно ради выяснения одной строчки.

Вдоволь покостерив про себя всех штабных крыс, будто именно они выудили у него нужную бумагу, Княжнин мучительно вспоминал, кем был подписан тот вызов Мировича в столицу, перебирая в уме все известные ему ведомства. Но ничего путного, кроме Военной коллегии, ему на память не приходило. А он помнил свое удивление, что Мировича вызвали куда-то отнюдь не по служебным делам, а через голову вышестоящего начальства. Но куда? В какой департамент или коллегия, он, хоть сейчас приговорите его к расстрелу или каторжным работам, вспомнить не мог. А потому, не найдя ничего лучшего, написал размашисто и с полным откровением напротив фамилии Мировича: «Вызван в Санкт-Петербург по делам государственной важности, о чем знать мне недозволительно». После чего облегченно вздохнул, бегло перекрестился на висевшую на противоположной стене икону, где была изображена голова Иоанна Крестителя, и невольно подумал: «Этак и мою голову по прихоти чьей-то могут отделить от тулова и поместить на стол для назидания всем таким же честным служакам. Мол, любуйтесь головой майорской, что не ко времени отчеты присылал. И вряд ли кто явит сострадание к скорбям моим, скорее плюнут себе под ноги и заявят: так ему, аспиду, и надобно. Пиши бумаги как положено. Правильно его усатую головушку с плеч сняли...»

После чего громким голосом позвал писаря Харитона, вышедши из-за стола, а когда тот стремглав влетел в горницу, с ходу отвесил ему по шее увесистую затрещину. Харитон, видать, ждал проявления начальственной ласки и вовремя втянул голову в плечи, потому майорская длань лишь слегка потрепала его покатый затылок и застыла в воздухе.

– Чтоб сей мгновений переписал бумагу и в штабную канцелярию снес. Иначе, сделай хоть единую ошибку, сам рук о тебя больше марать не стану, а отправлю сам знаешь куда... Мать твою растудыть!

Харитон затрясся, осознав нешуточную угрозу, исходящую от майора, мигом представив полкового палача, прозванного Рамазаном, спускавшего шкуру с любого тремя ударами хлыста.

– Не извольте сумлеваться, ваше высокоблагородь! – защебетал тот, еще глубже втягивая свою воробынью головку в хилые плечики. – Усё излажу, как есть... – И с этими словами, не дожидаясь, пока Княжнин подаст ему свой отчет, схватил бумагу со стола и со скоростью испуганного зайчишки нырнул обратно на кухню, где обычно и сидел в ожидании особых распоряжений.

Княжнин же, переложив главный груз на плечи писарчука, не знал, чем себя занять, и решил пройтись по морозцу, освежить натруженную непривычной умственной работой голову, кликнул вестового, приказал подать подбитую мехом епанчу.

Глава 2. Кураев

1

Примерно в то же время пребывающий в столице Кураев находился в доме, который он снимал, и, открыв дверцу печи, где дотлевали багряные кучки углей, пытался разложить, словно карточный пасьянс, свою дальнейшую жизнь. Лучше многих зная о грядущих изменениях, он безошибочно предполагал скорую отставку своего непосредственного начальника канцлера Алексея Петровича Бестужева. Все шло к тому, и пройдет день, другой, неделя, месяц, но Бестужева погонят со двора, и помочь ему в том вряд ли кто сможет. Он, Андрей Кураев, тем более. Да, он может выследить нужного человека, втереться к нему в доверие и даже лишить жизни того, на кого ему укажут. Но не мог же он запугать своей шпагой весь столичный бомонд, настроенный против канцлера. Об этом даже думать не следовало. Сейчас надо было решить, кому предложить свои услуги и будет ли в них нуждаться преемник Бестужева. Вот что больше всего занимало Кураева.

Его отец, Андрей Матвеевич Кураев, в свое время прозвание свое или, как начинали тогда говорить на немецкий манер, «фамилию» получил по обычной для тех времен нелепице. Их капральство, где он служил, возглавлял дородный бомбардир, любивший к каждому своему приказанию добавлять: «Я вас тудить-растудить, курвины дети, в бараний рог согну!» Получил тот бомбардир за время своего доблестного служения почти полную глухоту, а потому, когда кто-то из начальства негромко окликал его, то он зов начальствующий не слышал, чем вводил старших офицеров в великое раздражение. Тот, кто знал о его слабости, стал кричать ему попросту: «Эй, курвин сын, поди сюда». И, что удивительно, на зов тот он откликался тотчас. А потом и за всем его капральством как-то само собой приклеилось вроде как законное прозвание «курвины дети». И все бы ничего, но когда Андрея Матвеевича перевели с повышением в другой полк, то писарь без его ведома прописал в ведомости на перевод: «Андрюшка Матвеев сын Курвин». Правда, кто-то из офицеров нового полка, прыснув от смеха, приказал своему писарю заменить неблагозвучное Курвин на Кураев. Эта фамилия и передалась уже вполне законно и благополучно его старшему отпрыску Гавриле Андреевичу.

Провожая сына на службу, Андрей Матвеевич напутствовал его следующими словами: «С низким сословием не водись, а со старшим не чинись. Живи сам собственной думкой, а вот покровителя найди себе крепкого, за кем бы в случае надобности укрыться можно было от всех невзгод жизненных и судьбы превратностей». Время то было и в самом деле лихое, неустойчивое, переменчивое. На троне сидела вдовая Анна Иоанновна, но сидела на самом его краешке, робко и нерешительно, а правил страной немец Бирон, все и всех под себя подминая, ничем особо не брезгуя. Войн ни с кем не вели, и армия томила в казармах, не зная, чем себя занять. Витал тайный слух, будто бы вскорости всех армейских распустят по домам за ненадобностью, и офицеры вечерами шепотом передавали один другому новости, что приносили им из дворца родственники. Только до подобного недоразумения не дошло, армия осталась в целости. А вот наследницу умершей императрицы, Анну Леопольдовну с ее малолетним сыном, что доводилась седьмой водой на киселе царствующему дому, гвардейцы, не дожидаясь исполнения тех слухов, свергли и посадили на престол дочь Петра, молодую красавицу Елизавету, в надежде на иные времена и свершения. Свержение то произошло быстро, никто и глазом моргнуть не успел, но стало с тех пор два царственных лица: императрица Елизавета Петровна в Санкт-Петербурге и юный Иоанн Антонович в отдаленной на много верст от столицы ссылке.

Никто из армейских, а тем паче гвардейских служащих не интересовался судьбой малолетнего наследника. Причин для того не было. Кто он им? Ребенок, волею судеб восприняв-

ший российский престол, и столь же стремительно от него отставленный. Хотя вся Россия и все армейские чины до единого присягали ему и клялись в верности. Да что с того? Присягали одному государю, а потом объявили, что государь низложен и вместо него на трон взошла государыня. Чего же не присягнуть всем миром? Даже апостолы не все верность Христу сохранили, когда того под арест взяли, а что про подневольный армейский люд говорить? Велено присягать кому положено, и попробуй, возрази. Тебя, аки Христа, под трибунал подведут, а потом в батоги и на каторжные работы. И вся недолга. Так что не было таких, кто бы своим разумением жил, поскольку военному человеку думы такие ни к чему. Не только излишни, но и вредны. Исполняй приказ, а думать за тебя есть кому.

Поэтому и Гаврила Андреевич Кураев без особых раздумий присягнул новой императрице вместе со своими сослуживцами. Присягнул, и ладно, можно позабыть о том и служить себе дальше спокойно, словно ничего такого никогда и не было. Главное – служить и ни о чем не думать, кроме харча ежедневного и получения чинов новых. Но не таким простым делом оказалась служба без думок тайных, заповедных. Нет-нет да и возвращался он в думках своих к малолетнему наследнику, который, по слухам, находился где-то в студеных краях близ далеких Холмогор.

К счастью или к несчастью, природа наделила младшего Кураева цепким умом и памятью, и забыть образ царственного ребенка он, как ни старался, так и не смог. Понимал, что легче забыть и не травить себе душу, потому что чем дальше, тем хуже становилось. То отец его с малолетства сыну своему заповедовал: «Служи без раздумий, словно батюшка с паперти псалмы читает. Не нами оне написаны, не нам их ценить». Не внял сын отцовым заповедным словам и все прикидывал, чего бы случиться могло, коль остался бы императором сосланный в дали непроглядные невинный ребенок. И чем дольше он о том размышлял, тем тоскливее становилось внутри. Служба ему стала не в радость, худеть начал на глазах, словно от дурной болезни. Начал подумывать, как бы в отставку выйти, что тоже сделать было непросто. Запросто из армии тогда не отпускали, а лишь по неизлечимой болезни. Еще бы чуть, и списали бы его на гражданскую службу али на вольные хлеба, коль пожелает. Но судьба, видать, поставила на Гаврилу Андреевича выигрышный резон и отпускать из упряжки своей не захотела.

Перевели его вдруг неведомо почему и отчего на Урал, на Демидовские заводы, в полк, занятый охраной серебряных рудников. Кроме охраны, вменялось воинским командам, что пошустрей и порасторопней, сопровождать ценный груз в столицу, где добытая руда сдавалась на Монетный двор. В одну из таких команд угодил сержант Кураев. То ли приглянулся он местному коменданту, то ли, наоборот, в немилость впал, а скорей всего опять судьба решила все за него, но уже через неделю после прибытия на Урал приказано было ему собираться в дорогу и ехать сопровождающим в числе прочих двенадцати человек. К концу поездки Гаврила Андреевич не то что о сосланном в Холмогоры наследнике забыл начисто, но и о родном отце вспомнил, лишь когда у него вся наличность вышла и не на что было новые чулки взамен изодранных в дороге купить.

И пошли крутиться колеса службы, наматывая версты от уральских заводов до столицы и обратно. Кто бы их сосчитал, а Гавриле Кураеву и в голову не приходило счет им вест. Зато завелись у него пусть небольшие, но деньжата, помимо государева жалованья. Да и управляющий рудников графских за каждую благополучно проведенную поездку подкидывал караульной команде, как он говорил, на отщип, чтобы глядели исправно за грузом, цена которого из многих человеческих жизней слагалась. Благодаря тем поездкам через несколько лет Гаврила Андреевич сумел скопить денег на покупку небольшой деревеньки под Рязанью со странным названием Укропное Поле. Стояло в ней два десятка домишек крестьянских, и хоть доход от них был невелик, зато мысли о собственном имении, пусть неказистом, но своем (!), личном, грели душу. А потом опять же волею судеб перевели Кураева на службу в Петербург, где его высмотрел граф Бестужев, и не сразу, а присмотревшись к молоденькому подпоручику,

стал привлекать для выполнения различных частных поручений. Постепенно, обретя полное графское доверие, Гаврила Андреевич сделался его доверенным лицом.

Побывал он и в Сибири, и в иноземных странах, и едва ли не в каждой российской губернии. Приходилось ему заезжать и в Холмогоры, где находился в заключении малолетний принц Иоанн Антонович. Вспомнилась тогда Кураеву присяга новой императрицы, которой он теперь служил без малейшего изъясна в делах и помыслах, и невольно вернулся к судьбе безвинного отрока. Захотелось до беспамятства взглянуть хоть через щелку в заборе казематном на того мальчика. Зачем? Да скорей из озорства, из юношеского недопонимания, какая кара ждет его за подобную вольность. Но пересилил себя, проехал мимо, подмигнув шутейно караульному на бревенчатой вышке, что, позевывая, с лентой, поглядывал окрест острога.

«А ведь сотня верных людей без особого труда перемахнет через заплот, свалит и повяжет сытых, сонных от многолетнего безделья охранников и освободит принца. Что тогда будет? Не призовут ли народ к новой присяге...» – размышлял он, выезжая на узкую лесистую дорогу, по которой ташилось несколько груженых рогожными кулями саней.

Со временем Кураев стал ощущать себя этакой копилкой чужих больших и малых тайн, секретов, договоров и обещаний, поскольку часть из них граф Бестужев передавал ему в виде писем в снабженных личной печатью конвертах, а то и на старинный, петровских времен лад, свернутых в трубочку листов, опоясанных шелковым шнуром. Для этих целей у графа было несколько мотков китайской бечевы разных расцветок, подаренных кем-то из купцов. По одной только ему известной системе он брал то алый, то изумрудный, а реже желтый шнурок, аккуратно отрезал небольшую часть от мотка коротким, похожим на сапожный, ножом и крепко перевязывал грамоту в присутствии Кураева. Потом брал сургучный брус, разогревал его над постоянно горящей в кабинете свечой и капал на сплетенный шнурок, после чего прижимал желеобразную сургучную кляксу к столу и кладал по ней своей печатью, закрепленной на бронзовой фигурке шотландского гвардейца.

Но не все графские послания попадали в руки Кураева в запечатанном виде. Иногда тот просто совал ему в руки испещренный корявым старческим почерком с перекошенными вкривь и вкось буквицами лист бумаги и называл имя того, кому он должен сие послание доставить. И ни разу канцлер не сказал своему гонцу, мол, не смей читать, чего там понаписано. Вначале Гаврила Андреевич из обычной для новичка щепетильности даже не мог подумать, чтобы заглянуть в канцлерову записочку. Но однажды не удержался, осторожно развернул с глухо бьющимся в груди сердцем невзрачную на вид писульку, сунул туда острый свой нос, пробежался, ничего не поняв с первого раза по строчкам, и тут же свернул ее обратно и спрятал в сумку. Вечером, отчитываясь перед Бестужевым о выполненном поручении, не смел поднять на него глаз, думал, дознается старикашка и поймет все. Нет, канцлер, как всегда, был занят делами своими и, выслушав доклад, небрежно махнул желтой, как александрийский пергамент, ладошкой и придвинул стопку монет, обычно вручаемых за исправно исполненное поручение. Кураев подхватил ту стопку, да не очень ловко, поскольку руки его дрожали со страху, рассыпал их на толстый ворсистый ковер, привезенный в дар канцлеру персидскими послами. Под насмешки Бестужева о великой жадности своей торопливо собрал монеты, не отыскав нескольких штук, застрявших меж ворсом, и выскочил вон, оставив свою шляпу в кабинете. Шляпу на следующий день он получил от лакея Серапиона, умевшего, как и его хозяин, больно уколоть незначительного посетителя острым словом. Сейчас же он, сведя вместе кустистые седые брови, сказал лишь:

– Алексей Петрович велели вернуть шляпенцию твою, хмыренюк, а ешшо добавили, мол, пуцай малец пить научится али совсем энто дело бросит, чтобы в другой раз ручонки у него не дрожали дрожмя, как нос у суслика, коль тот орла почует.

Рядом со шляпой лежали и две монеты, не найденные вчера Кураевым, что вдвое, если не втрое было для него унижительным. Он давно перестал обращать внимание на издевки ста-

рого Серапиона, служившего при Бестужеве не один десяток лет, а потому считавшего себя в департаменте вторым человеком после канцлера. Он и с другими молодыми офицерами позволял себе немислимое, называя их по собственному усмотрению то крысами, то хорьками, то людьми прибрлудными. И хотя большинство из числа обиженных имели потомственное дворянство, но ни одному из них не приходила в голову мысль ответить что-то подобающее слуге канцлера. И все молча, а то и с подобострастной улыбочкой проглатывали его дурацкие остроты. Кураев, впервые услышавший в свой адрес издевку из уст старика, схватился было за шпагу, но тот, скривив губы, достал из-за спины толстую суковатую дубину и положил ее перед собой, спросив непринужденно:

– Чего, бестия сивопузая, сразиться со мной желаешь? Я шпажонки ваших не признаю, сроду в руку не брал, а вот палочкой своей могу изрядно приложиться, только тогда не обижайся, будто я с тобой неласков был. Вместо поа так окрещу, что мигом веру поменяешь...

Знавшие Серапиона люди говаривали, будто бы он по молодости лихо разбойничал на московских дорогах, где и был взят с поличным, за что ему грозила петля или плаха. Но присутствовавший на допросе Алексей Петрович Бестужев вызволил душегуба из каземата и взял к себе в услужение, о чем, судя по всему, ни разу с тех пор не пожалел.

После первого неаполнительного поступка в Кураева словно бес какой вселился и все нашептывал ему в ухо: «Не надо бояться! Никто не узнает, а тебе может пригодиться».

Этим доводам Гаврила Андреевич сопротивлялся. Тогда враг рода человеческого осмелел и пошел на немислимую каверзу, задав ему такой вопросик:

«А как ты думаешь, почему граф Бестужев одни письма дает в твои руки запечатанными, а другие нет? Не считаешь же ты, будто бы он ленится это сделать...»

«И что? – попытался найти достойный ответ искушаемый курьер. – Может, он просто спешит...»

«Спешка, сам знаешь, где нужна. А тут дело сверхсерьезное, любая промашка непростительна. Нет, граф делает так специально...»

«Чтоб меня проверить? Тогда тем паче нельзя заглядывать в те письма. Может, он их скрепляет чем-то тайным, о чем мне вовек не догадаться».

«Это ты-то не догадаешься? – подъехал с другой стороны искушитель. – Не считай себя дурачком, сразу бы заметил, что не так...»

«Тогда в чем причина, если это не проверка? Доверяет он мне, вот и не запечатывает письма те...»

«Правильно, правильно мыслишь, так оно воистину и есть – доверяет! И больше скажу – желает, чтоб ты их прочитывал и знал, что там писано...»

«В толк не возьму, зачем графу так делать. Какой толк в том?»

«Он хочет, чтоб ты его дела знал. Мало ли что может выйти с карьерой его. А вдруг да с обыском нагрянут... что тогда?»

«К канцлеру, и с обыском? Да кто ж на такое решится? Быть такого не может, глупости говоришь...»

Кураев уже не замечал, как начал разговаривать вслух с самим собой, благо находился на тот момент у себя дома, на квартире, что снимал у двух пожилых небогатых помещиков, проживавших из экономии у себя в деревеньке. Квартира их была в полном его распоряжении, и он мог не бояться, что кто-то подслушает его. Об этом знал и Бестужев, кстати, лично порекомендовавший ему эту квартирку.

«Глупости, они, брат мой Гаврюша, иногда от больших умностей произрастают. Еще успеешь узнать о том, – продолжил его невидимый собеседник, – а пока слушай дальше. Допустим, граф заболит, память потеряет, не будет знать, кому что им писано. Случается такое с людьми? Да сплошь и рядом! Вот тогда он призовет тебя и спросит, а не помнишь ли ты

случаем, Гаврюшка, Андрюшкин сын, кому третьего дня была записка мной собственноручно писана?»

«И что с того? – не задумываясь, отвечал Гаврила Андреевич. – Отвечу: отнесена была та записка в дом князя Трубецкого и передана ему собственноручно. Какая же в том тайна, ничего особенного нет...»

«Вот после того граф тебе дальше и скажет, мол, извини, но не помню, что и зачем писал Трубецкому, а знать мне то писание нужно пренебреженно. Помогай, чем можешь. И что ответишь тогда своему хозяину?»

Гаврила Андреевич призадумался. А что он может ответить, коль произойдет такой случай? Правду, где откроется о прочтении записки, в которой сказано было о приезде в столицу тайного гонца из Швеции с наисекретнейшими известиями? Или же сделать вид, будто бы ничего не ведаешь и знать ничего не можешь? Может, и впрямь не зря оставляет Алексей Петрович некоторые свои послания незапечатанными в надежде на его цепкую память?

2

Короче говоря, разговор тот с бесом-искусителем или кто там был поверг Кураева в окончательное расстройство чувств и вызвал кучу сомнений. Как ни крути, а зачем-то граф оставляет записки открытыми, а вот зачем, о том можно только гадать, и все одно нужную догадку не сыщешь. Хоть у самого графа интересуйся, как ему быть. Но, зная крутой нрав Бестужева, на такое Кураев решиться никак не мог. Могло и так выйти, что за любопытство свое он попадет или в крепость на долгий срок, или вернется обратно на уральские заводы руды серебряные охранять. Так бы оно еще ничего, но нынешней должности своей терять ему никак не хотелось. Приобщившись к государственным тайнам, трудно отказать себе и круто поменять судьбу. Тайны эти, как клад заколдованный, тянули, манили и отпускать от себя не хотели.

Поэтому Гаврила Андреевич, махнув на все рукой, повел себя так, как и следовало ожидать: начал прочитывать все попадавшие в его руки послания. И скоро он так преуспел в этом деле, что знал обо всех тайнах столичных и держал их в себе за семью печатями, как хранил Кощей Бессмертный жизнь свою, упрятанную в яйцо, до которого добраться никто не мог без особого на то умения и надобности.

Мало того, со временем он поднаторел вскрывать запечатанные конверты, бережно их потом заклеивая. Труднее оказалось постигнуть методу вскрытия грамоток, свернутых в трубочку. Но и тут юношеская сметка и любопытство подсказали ему, как можно безбоязненно заглянуть внутрь особо важных посланий, для чего он, как-то оставшись один в графском кабинете, отмотал незначительное количество шнура от каждого из клубков. Потом, попробовав раз и в меру приноврившись, он просто разрезал шнуры на конверте, а прочтя, делал на них вставку требуемого цвета.

Однако по прошествии какого-то времени он вдруг с ужасом понял: стоит ему случайно проговориться кому-то о том, что он вобрал в себя, став причастным к тайнам человека, коему служил, и донесется то до графа, не сносить ему головы более суток. Даже сбежав за границу, и там не укрыться. Везде у графа свои люди, агенты, доносчики, и достанет он своего давешнего посыльного без особых хлопот и прихлопнет, как кот мышку, своей разлапистой пятерней.

Одно время у него даже пропал сон, а потом и аппетит, и, оставшись в доме один, он положил подле себя вынутую из ножен шпагу и два заряженных пистолета, на полки которых не забывал подсыпать свежий порох. Однажды подобные предостережения едва не сыграли с ним злую шутку, если бы он, привыкший на бестужевской службе перепроверять многократно каждую мелочь, не догадался выглянуть из дома наружу, прежде чем начать стрельбу,

А случилось вот что. В глухую зимнюю полночь в дверь к нему кто-то громко и настойчиво постучал, послышались чьи-то грубые голоса, а потом и зычный крик: «Долго спишь, вставай, за тобой пришли!»

Кураев все понял и решил без боя не сдаваться. Взяв курки обоих пистолетов, он наставил их на двери, ожидая, когда их начнут высаживать. То были явно не грабители, те ведут себя тихо и скрытно. Тут же явились люди, не скрывающие своих намерений и ведущие себя как хозяева положения.

Он чуть подождал. Крики и удары в дверь продолжались, но особых попыток вломиться внутрь никто не предпринимал. Тогда он решил тайно покинуть дом и скрыться, чтобы потом выяснить, кто и зачем к нему пожаловал в полуночное время.

Он быстренько накинул на плечи теплый плащ, обулся, не забыл надеть шляпу и, не выпуская пистолеты из рук, заткнув шпагу за пояс, на цыпочках прокрался на кухню, где был черный ход во двор.

Если пришли арестовывать его, то они должны были ожидать его и во дворе, но там никого не оказалось. Тогда он, прижимаясь к стене, слегка пригнувшись, дошел до угла дома и оттуда увидел стоявших перед парадным входом двух изрядно подвыпивших молодых людей, продолжавших барабанить в дверь.

– Кто такие? – набрав воздуха в грудь, громко крикнул он и с пистолетами, уставленными на незваных гостей, шагнул к ним навстречу.

Те не сразу поняли, кто перед ними, и один из гуляк кинулся к нему, широко раскинув руки, словно для объятий. Но Кураев, сделав шаг в сторону, зашел ему чуть за спину и с силой опустил рукоять пистолета на его затылок. Тот рухнул в снег, не издав ни звука. Второй же, мигом протрезвев, хотел было скрыться, но Гаврила Андреевич в прыжке настиг и его и повалил на землю, приставил пистолет ко лбу и взвел курок.

– Чего надобно? – зло спросил он. – Кто такие?

– Да мы того... К Мишелю в гости пришли, – выплевывая изо рта набившийся снег, прошамкал тот.

– Что еще за Мишель? Не знаю такого...

– Он служит с нами в почтовой конторе, а у Сержа сегодня как раз день ангела, – он кивнул в сторону лежащего ничком друга, не подававшего признаков жизни, – вот мы и решили продолжить веселье, зашли на огонек...

– Где и какой огонек вам почудился? – уже добродушно спросил Кураев, давая возможность молодому человеку подняться.

– И впрямь, нет огонька, – покрутил тот головой, не спеша вставать с покрытой снегом земли, поводя по сторонам мутными глазами. – А вы кто будете? – спросил он неожиданно. – И по какому праву напали на нас? Я буду жаловаться...

– Не успеешь, – зло ответил Гаврила Андреевич и вновь направил в его сторону один из пистолетов.

Тот мигом сжался, закрыл лицо руками и зачистил:

– Не надо, прошу вас, не надо. Мы не станем жаловаться, только отпустите нас, помогите Сержу подняться. Он живой?

– А что с ним станется? – Кураев слегка пнул лежащего лицом вниз юношу, которого товарищ называл Сержем. Тот зашевелился и попытался сесть. Товарищ кинулся помогать ему, поднял на ноги, и, пошатываясь, они побрели к воротам, причем Серж слегка постанывал, держась одной рукой за голову.

Когда гуляки отошли на несколько шагов от кураевского дома, то разразились столь непристойными ругательствами, что Гаврила Андреевич, хотя и ему пришлось слышать всякое, лишь поморщился и пошел обратно в дом, не забыв спустить курки у пистолетов.

Произошедший случай заставил его многое переосмыслить и взглянуть на свою жизнь по-иному. Первое, что он сделал, это переменил квартиру. Причем не стал о том докладывать канцлеру. «Нужно будет, сам узнает или меня спросит», – решил он. Второе: нанял на службу, опять же по примеру Бестужева, отставного унтер-офицера, ветерана нескольких кампаний, служившего под началом самого Миниха. Звали того Гордеем, а прозвище он имел Сорока. Видно, за то, что по поводу и без оного постоянно чего-то говорил, бубнил себе под нос, будто внутри у него было что-то нарушено, что не позволяло ему сдерживать поток слов. Поначалу эта особенность даже нравилась Гавриле Андреевичу, не имевшему до той поры возможности перебраться хоть с кем-то словечком и большую часть времени проводившему в дорогах и разъездах. Но уже к концу недели словоохотливость Гордеева стала ему надоедать, а потом и вовсе неимоверно раздражать. Он уже подумывал, как бы избавиться от своего денщика, как он окрестил его про себя, но тот вдруг подсказал ему выход из затруднительного положения.

Как-то, войдя к нему в кабинет с охапкой дров, Гордей начал с порога:

– Слушай, барин, чего я скажу тебе. Слухай и не перебивай, а то знаю тебя: стоит мне начать советы тебе давать, так ты уходишь от меня подале. А я жизнь прожил, всякого повидал, все вынес, беда меня миновала, теперича вон как зажил, что кот в кладовке со сметанкой рядом...

Он еще чего-то говорил, сыпал словами, в чем угадывалось его желание отблагодарить хозяина, взявшего его к себе на сытую и необременительную службу, но Кураев его не слушал, а принялся набивать трубку крепким турецким табаком. И тут Гордей, сложивший в печь им принесенную вязанку дров, опустился на колени. Не зажигая огня в печи, так на коленях и пошел в его сторону. Гаврила Андреевич поспешил вскочить на ноги, ожидая от денщика чего-то необычного. И тут до его слуха дошли последние сказанные им слова:

– ...обязательно баба нам нужна, без нее никак...

– Какая еще баба? – озадаченно поинтересовался Кураев. – Зачем она нам нужна? Без нее жили, и дальше проживем... Зачем нам она?

– Вот, ваше благородь, опять вы старика Гордея не слушаете, а потому не разобрали слов моих. Как же нам без бабы, ежели я ничего, акромья щей, варить не умею? Нет, я могу и свининку сжарить на углях, как то во время службы частенько бывало, если только противником нашим не бусурманы чернозадые были, – при этом он неодобрительно покосился на табачный кисет с бросавшимся в глаза полумесяцем, – а народ христианской веры. У них свининкой завсегда разжиться можно было... По стговору ли общему, за деньги или выменять чего, но без мяса солдату какая жизнь? Вот и я говорю: нам с тобой, Андреевич, двум мужикам, без мяса жизнь хуже плену бусурманского покажется. Мнишь, о чем говорю?

Гаврила Андреевич решил не перебивать Гордея и дослушать все его доводы до конца, а потому лишь кивнул головой. Одобренный, тот зачастил, как великий грешник на исповеди:

– Это с кушаньем. Лучшее бабы все одно у меня сготовить не выйдет, – постучал он себе по лбу сжатой пятерней. – А порядок в доме навесть? А ты, мил человек, сам подумай, все последние годы где жил-то Гордей? В палатке солдатской! А по зиме в казарме или на постое у добрых людей. И как его, порядок тот, содержать надо, хоть распни меня, хоть огнем жги, чего хошь делай, а знать не могу и не умею.

Он чуть перевел дух, не спеша встал с колен, думая, что так Кураев лучше проникнется его речами и доводам, и продолжил давно заготовленную речь:

– Мне вот на базаре последний разочек когда довелось бывать? Да два десятка годков с лишним! И то при родителях ездили из деревни свое продать, нужное по хозяйству прикупить или там поменять на что. И чего я умею? Только и умею, что спросить, почем да какое. Мужики – народ ушлый, подсунут чего ни попадя, самое лежалое да стылое. Домой-то принесу, начну готовить, а курица, хотя она в руках хозяина и билась и кудахтала, а пока до кухни ее донес, Богу душу отдала. Как оне умудряются такой товар с рук сбыть, ума не приложу. А как зачну

ее ощипывать, перышек лишать, то хоть сам плачь, все перья не идут из нее ни под ругань мою, ни под молитву. Я уж, ты меня, Андреевич, прости, лешего старого, сповадился к соседской кухарке хаживать, чтоб она для нас с тобой, горемычных, обед варила, курей щипала. Так она разочек спомогла, потом еще, а давеча и говорит мне, мол, своей работищи неупроворот, проваливай, пенек плешивый, щипи курку свою сам, как умеешь. Вот и весь сказ...

Тут Гордей с кряхтением поднялся с колен и снял заячий треух, обнажив и в самом деле свою плешивую головенку, покрытую седым ежиком скатавшихся и давно немых волос. Как бы в подтверждение своих слов, провел загрубевшей ладонью по макушке, сказал:

– Был бы годков на десяток помоложе, я бы показал той бабе, какой я пенек. А сейчас чего? И впрямь труха сыплется, ее правда. Так что скажешь, барин? – закончил он, с надеждой всматриваясь в глаза Кураева.

Тот для солидности помолчал, понимая, что прав Гордей, негоже доверять бывшему солдату приготовление пищи, в чем он не то что не силен, а не ровен час и потравить может. Все эти дни Гаврила Андреевич поглощал приготовленную денщиком еду с брезгливостью, но, не желая обидеть того, нахваливал, как мог, оставляя большую часть еды на тарелках, ссылаясь на срочность дел. Но старого вояку трудно провести, и он без лишних слов понимал безуспешность своих поварских попыток угодить хозяину, а потому и затеял нелегкий для себя разговор. Кураев мог бы подыскать человека, кто, не в пример Гордею, имел способности к поварским делам, а в свободное время мог бы и печи протопить, и в доме порядок поддерживать. Но ему было искренне жаль Гордея, нашедшего в себе силы признаться во всем. К тому же ему была по душе приверженность старого вояки к оружию, которое он каждый вечер уносил на другую половину и оттуда какое-то время слышен был скрип точильного камня, мягкое шептание шомпола, входившего в дуло пистолета. По своему опыту Кураев знал, что человек, относящийся столь серьезно к исправности оружия, умеет с ним обращаться. А в его ситуации в том был свой резон.

Потому он напрямую спросил Гордея:

– Ты, видать, уже присмотрел кого? Признавайся, старый греховодник!

– Да я вовсе даже не присматривал. Сама вчерась заглянула, работу ищет, муженька на войну спровадила год назад, а от того никаких вестей... Вот она и пошла... заработок для пропитания себе искать...

– Понятно, – перебил его Кураев, не давая пробиться новому заряду лишних словоизлияний. – Дети есть?

– Говорит, был сыночек, да летом от жару помер, годика не прожив.

– Значит, одна баба та?

– Как есть одна, – согласно закивал Гордей, и глаза его тут же вспыхнули, словно в них отразились искорки от свечей.

– И сколько годков? Зовут как?

– Да мне зачем знать? – отстранился от хозяина Гордей, словно тот предлагал ему принять в руки что-то тяжелое, неподъемное. – Я на ней жениться не собираюсь, а потому именем ее не интересовался. Какое мне до него дело?

– Ой, врешь, дружок! – рассмеялся Кураев. – Ладно. Быть по-твоему, зови завтра к вечеру, как со службы вернусь, коль никуда не зашлют в поездку.

– А коль зашлют? – не унимался Гордей. – Она к другим в найм пойдет, а где мы потом другую найдем... Славную да пригожую...

Кураев не выдержал и расхохотался так, как давно не приходилось.

– Значит, говоришь, славная да пригожая? С этого и надо было начинать, а то заливал мне тут про курицу с перьями, гвоздями прибитыми. Ох, греховодник старый, ой, плут! Сорока, она сорока и есть: как чего блестящее увидит, так все к себе в гнездо и тащит. Правильно тебя прозвали, ох, правильно... – и он опять захохотал.

Когда Гордей вышел, Кураев покосился на печку, в которой так и остались лежать незажженными дрова. Он достал из-за трубы припасенную денщиком для розжига бересту, порвал ее на узкие длинные полоски, подсунул под нижние поленья, а потом поднес ближайшую к нему свечу к берестяной полоске и поджег. Огонь скоро перекинулся на поленья, он прикрыл дверцу и сел в кресло напротив, ощутив уют и покой, исходившие от пламени. Подумал:

«Так и во мне копятя, лежат без дела и применения чувства, а поджечь их некому. А поднеси кто огонек – и поскачет пламя, а от него и жар по мне самому, и других людей, глядишь, обогреет. Только кто осмелится поднести огонек ко мне, состоящему на тайной службе...»

Глава 3. Несчастья графини Апраксиной

1

Жена Апраксина, пятидесятичетырехлетняя пышнотелая Аграфена Леонтьевна, узнав, что муж ее арестован и заключен под стражу из-за каких-то там писем, как сообщили ей о том столичные кумушки, тут же, как ей казалось, на полном серьезе занемогла. Не сняв чулок, стеганного на меху шугая и капора, лишь скинув белые с бисерной расшивкой вале-ночки-катанки, она завалилась на высокую перину в спальне, где обычно ночевала в отсутствие своего муженька, и тонким голосом пискнула:

– Худо мне... Чай, помру скоро...

Калмыцкая девушка, получившая при крещении имя Ульяна, но откликающаяся на прозвание Уля, в тот момент растапливала в гостинной печку и, плохо русский язык понимая, сунула чумазую головушку за кроватьный полог и поинтересовалась:

– Чего, мамка, надо?

Аграфена Леонтьевна запустила в ее сторону небольшую подушку, не попала, от чего лишь еще больше взъярилась и завизжала уже в полную силу:

– Помираю! Дура чернявая! Зови, кто есть. Зови, а то пороть велю сей час!

Что значит «пороть», калмычка знала хорошо и мешкать не стала, бросила зажженную лучину на пол и понеслась на другой конец дома, где обычно сидела домашняя прислуга в виде двух молодых, недавно взятых из деревни, – Евлампии и Аглаи. Имена их калмычка не запомнила и потому звала одну – Ламой, а вторую – Агламой. Молодухи обижались или делали вид, что обижались, и при первой возможности старались побольней ущипнуть девчонку за бок или дернуть за пук черных колючек волос. Но калмычка отвечала им тем же и на каждый щипок отвечала укусом обидчицы за руку, а то и царапалась, словно ухваченный за неудобное место котенок.

Влетев в девичью, Ульянка застыла на пороге, дико выкатила глаза и показала обеими руками в сторону спальни, где оставила стонущую на перинах хозяйку, и что-то промычала при этом.

– Чегой-то ты опять шаберишь, Уля-мазуля? – насмешливо спросила, поигрывая русой косой, Аглая, не собираясь встать с лавки, где она удобно устроилась с горстью семечек в руке.

– Поди, опять Никитка ее к себе на конюшню звал, – усмехнулась Евлампия, намекая на давний интерес любимого кучера хозяйки Никиты Зиновьевича, как он сам себя обычно величал, к молоденькой калмычке, домогавшегося ее давно и пока без особого в том результата. – Возьми да и сходи к нему. Чему быть, того не миновать, – насмешливо хихикнула она. – Нас-то он не зовет, а тебя вот из всех выбрал.

Тогда калмычка, увидев, что ее не понимают, громко взвизгнула и притопнула смуглой босой пяткой, сказав лишь:

– Мамка худо, шибко худо... орет... – и она опять показала рукой в сторону спальни.

– Знамо дело, чего ревет. Вчерась накушалась наливочки, седни и мучится. Ой, горе нам, подневольным. Пойдем, что ль. – Евлампия тяжело поднялась и дернула за рукав Аглаю. – Сразу не явимся, так визжать станет, стращать муками великими. Пойдем, подружка...

Аглая сложила горкой недогрызенные семечки, выбросила в поддувало мусор и пошла следом за ней.

Они зашли в гостиную и увидели, как от брошенной калмычкой лучины начали заниматься и уже тлели тканые половички, заменявшие в будние дни богатые ковры, а от них

недолго было и до просохших смоленых половиц. Помедли они еще чуть – и вспыхнул бы весь дом. С визгом и криками молодухи кинулись к стоящей подле дверей кадушке, легко подхватили ее и опрокинули на пол. Вода поползла по полу, раздалось шипение от соприкосновения ее с огнем, в потолок ударило бурое облако пара, и пламя погасло. Лишь продолжал тлеть край половичка, но девки быстро затоптали и его подошвами валенок, а потом крикнули кого-то из дворни, и те яростно принялись таскать на лопатах комья снега, присыпая искрящейся снежной массой признаки тления.

Когда не набравший полной силы пожар был потушен, вспомнили о барыне и все, кто принимал участие в тушении пожара, кто в чем был, ввалились к ней в спальню. Аграфена Леонтьевна с неопишным ужасом на ее некогда красивом лице сидела на перинах, прижавшись спиной к стене, и не могла вымолвить ни слова.

– Матушка, жива? А то мы напугались так... – первой спросила наиболее бойкая Аглая и хотела подойти ближе к барыне.

Но та вдруг завизжала и замахала перед собой снятым с головы капором:

– Изверги! Скоты безрогие! Аспиды проклятушие!! Смерти моей желаете?! Да я вас в Сибирь сошлю, в подвалах сгною, семь шкур спущу...

Дворня, знавшая привычку своей барыни ругаться долго и изощренно, в чем она превосходила даже своего мужа, выдавшего виды вояку Степана Федоровича, попятилась из спальни, а потом всей толпой помчалась в разные стороны. Никто и не заметил спрятавшуюся за портьерой калмычку, злорадно улыбающуюся, довольную, что хоть таким образом недолюбливающие ее молодухи и дворня получили по заслугам. Она постояла так еще некоторое время, а потом смело откинула портьеру, прошла в спальню и села подле хозяйки и осторожно погладила ее по руке. Та сперва вздрогнула, поскольку глаза ее были полны слез, а потом разобралась, кто сидит перед ней, и прижала маленькую головку неудачной поджигательницы к себе и тихим шепотом произнесла:

– И тебе страшно, азиатка маленькая... А уж какво мне страшно, словами и вовсе не передать. Ладно, перемелется, мука будет. Понимаешь? – неожиданно широко улыбнулась она, не выпуская головку из своих объятий. – Да ничегошеньки ты не понимаешь... И ладно. Может, так оно и лучше. Те вон все поразбежались, а ты не испугалась, ко мне пришла. Вместе-то оно веселей будет... Пошли, что ли, чайку попьем...

И Аграфена Леонтьевна, мигом забыв о своих болезнях, спустилась с кровати и, осторожно держась за плечо идущей рядом калмычки, пошла в верхние покои, брезгливо обходя лужи от растаявшего снега и обгорелые половики. Она и не думала поинтересоваться, по чьей причине случился пожар, довольная тем, что все закончилось вполне мирно и благополучно.

Уже на другой день она сумела разузнать через сведущих людей, что положение муженька ее, бывшего главнокомандующего русской армией, расквартированной на зиму в Пруссии, довольно серьезно и не предвещает скорого разрешения.

Как оказалось, самого Степана Федоровича до столицы не довезли, а разместили неподалеку в местечке со странным названием Три Руки, где содержали без особых строгостей, но лишили любых встреч с родными и близкими, в том числе и возможности переписки. Поэтому болезнь Аграфены Леонтьевны началась не вдруг и не по извечной бабьей немочи, а после многочисленных разговоров с людьми, кто мог бы хоть как-то повлиять на судьбу ее заключенного супруга. Может, не случись слабого пожара в гостиной по вине испуганной калмычки, болезнь та дала бы о себе знать в формах более серьезных и тяжких. Но пережитые волей случая испытания неожиданно помогли ей найти в себе силы начать хоть какую-то борьбу за судьбу невинно оклеветанного, как она непоколебимо считала, мужа.

Все, с помощью кого она пыталась выяснить обвинения, выдвинутые против Степана Федоровича, говорили о каких-то письмах, о которых она не имела ни малейшего представле-

ния. Поначалу решила, что в письмах тех кроется очередной *adultère*², о чем она давно подозревала и даже имела веские на то основания. Но если дело всего лишь в любовной интрижке, то этак можно половину командного состава, а то и больше хоть завтра под стражу взять.

Любила она своего мужа преданно и самозабвенно, верила в его честность, как может верить ребенок. Он был самый лучший и единственный на свете, а уж краше его нигде и никогда не сыщешь.

В то же время она, выросшая в военной семье, понимала – походный быт не только посту помеха, но и супружеской верности великое испытание. Будучи офицерской, а тем паче генеральской женой, не равняй военного мужа со штатским ярыжкой, что всегда у тебя перед глазами. А в воинский лагерь с проверкой не заявишься. Зачем из себя посмешище делать, а от муженька праведности излишней требовать? Жили до них мужи военные по своему уставу, не нам его, устав тот, менять.

Но потом доброхоты разъяснили готовой ко всему Аграфене Леонтьевне, что в письмах, о коих речь идет, прямая государственная измена кроется. Не больше и не меньше! Измена! Да что же она, с печи, что ли, посередь ночи упала, дабы поверить рассказам подобным? Чтобы ее Степан Федорович продался кому за понюх табаку? Быть такого не может! Кому изменить он мог? Государыне? Так он ее почитает, как мать родную в свое время не почитал. И скажи кто: «Отдай жизнь и кровь свою за государыню Елизавету!» – мгновения думать не станет, а отдаст и жизнь, и кровь свою без остатку.

И кому он мог продаться? Неужто плешивому Фридриху, которого, будь его воля, он сержантом в самый захудалый полк не поставил бы, поскольку спеси его и дерзости на дух не переносил. Фридрих привык исподтишка напасть, с тылу залезть и под шумок кинжал меж лопаток всадить противнику своему. Нашенские генералы этак воевать не обучены: сойдутся грудь на грудь с неприятелем и – чья возьмет. А прусский манер с их волчьей хитростью нам не с руки. Не приучены.

Так что заводить дружбу с этим поганцем Фридрихом Степан Федорович ни за какие коврижки не станет. Да и офицерство, что при нем служит, не позволило бы. Там тоже истинные русаки, дворяне столбовые, не станут они менять российский мундир на прусский хомут.

И что же тогда остается? – рассуждала сама с собой Аграфена Леонтьевна... Остаются недруги, коим несть ни числа, ни счета. Вот они-то и навели тень на плетень на ее драгоценного супруга. Позавидовали славе его, верности, удаче, да и решили свалить. Высосали дело из пальца, шепнули, кому надо, а там пошло-поехало. И письма сыскали, и следствие завели, и самого Апраксина в оборот взяли, в каземат заключили.

2

К концу дня после злосчастного пожара Аграфена Леонтьевна успокоилась окончательно и решила начать действовать на свой страх и риск. Был бы подле нее ненаглядный Степан Федорович, забот бы никаких не было. Он самолично, никого не привлекая, все дела бы разрешил и обставил как должно. А тут, без мужа, без доброго совета приходилось идти на риск великий. А что из сего дела выйдет, то бабушка надвое сказала.

Поначалу она замыслила ехать прямоком к императрице, упасть к ней в ноги, излить вместе со слезами печаль свою. Заявить, что послужил мой муженек честью и правдой, сколь мог, а теперь стар сделался, ни на что не годен стал. Вели его, государыня, рассчитать по всей форме, выплатить, сколь положено за пролитую кровь, и отпусти на покой тихо-мирно. Но представив, как ответствует императрица на слезы ее, которых она сизмальства терпеть не могла, – тут она в батюшку покойного пошла, упокой, Господь, его душу, не к ночи помянутую.

² Супружеская измена (франц.).

Уж он-то душегуб лихой был! Сколько кровушки из людей повычерпывал – кадушек дворцовых не хватит. Сынка своего единственного и то загубил. Надо думать, доченька его недалеко ушла, хотя, чего греха таить, никого на плаху за все свое тронное сидение не спровадила. Но и слез терпеть не могла. А без слез у Аграфены Леонтьевны никак не выйдет, без них она печаль свою не откроет, разрыдается.

И с чего это она решила, будто императрица ее сей же час примет и в покои к себе пустит?! Там вона сколько иных особ поважнее обитается, ждут выхода матушки по несколько часов кряду. А она кто? Жена мужа, посаженного в темницу?

«Нет, не резон мне ко двору выпячиваться, – потеряла кончик своего мясистого носа Аграфена Леонтьевна, – во дворец без приглашения соваться не следует. Ладно, коль обсмеют, а может все на Степане Федоровиче сказаться. Как бы не навредить муженьку излишней прытью... – сказала вслух госпожа Апраксина и в очередной раз всхлипнула, представляя, каково в темничном склепе ее мужу. – Надобно что-то иное предпринять, а вот что, на то моего бабского ума не хватает».

Она посидела еще какое-то время молча, поглядывая в заиндевелое окно, и решила, что самое лучшее будет посоветоваться с кем. Подружек доверенных у нее не было, все с мужем завсегда решали, не доверялись знакомцам и родственникам, будь они хоть самые кровные и честные. Им доверься, а назавтра уже раструбят, раздуют твои же слова совсем не так, как то было сказано.

При доме у них жили несколько старух-приживалок, но те вряд ли чего путное подскажут, а если и присоветуют, то держи карман шире, чтобы все на волю не повывлетало.

И тут она услышала за дверью тяжелые шаги своего главного конюха Никиты, служившего ей чуть не сызмальства верой и правдой и помогавшего держать дворню в крепкой узде. Правда, шел о нем слух, будто бы многих девок он перетаскал к себе на конюшню да и обрюхатил. Но девки о том молчали, а лишний рот в хозяйстве много харча не требовал, зато дворня прибавлялась исправно. И сама Агафена Леонтьевна испытывала от той мужицкой силы к Никите понятное уважение, как каждая здравая баба с почтением поглядывает на справного мужичка, который не только о себе думает, но и чужому горю готов подсобить, коль требуется.

– Никитка, – громко гаркнула она. – Подь сюда, дело есть.

По половицам загрохотали сапоги, и Никита почтительно растворил дверь ее спальни, не смея зайти внутрь.

– Заходи, заходи, дело у меня к тебе непростое. Хочу, чтоб ты мне советом подмог. Надумала я к государыне во дворец поехать, заступления просить мужу моему законному, Степану Федоровичу. Что на это скажешь? Ты ведь слыхал о том, что опутали его враги окаянные неправдой и теперича он под арестом содержится?

– Был такой слух, только я ему не поверил, – осторожно отвечал Никита, оглаживая свои рыжие, давно не мытые кудряшки, выющиеся на голове, словно цветки желтых одуванчиков.

– Слух не слух, а что скажешь насчет моего желания?

– Какого это, хозяйюшка? – вкрадчиво спросил Никита, не желая быть вовлеченным в столь щепетильное дело.

– Да чего же ты, дурак рыжий, понять не можешь? Я тебе доподлинно только что сказала: хочу ко двору ехать, заступничества у матушки-государыни испросить. Понял, нет ли?

– Моего ли то ума дело? Вам, Аграфения Леонтьевна, советы давать? – изобразил на своей плутоватой физиономии крайнюю степень изумления Никита. – Ежели б то случилось покупки коня или иных дел по хозяйству, тут бы за милу душу изволил присоветовать чего и как, поскольку толк в том имею немалый. А вы ж меня, матушка-кормилица, вона об чем испросили: ехать к императрице на двор али не ехать. Чего я в том смыслю? Да ничегошеньки, истину говорю, как есть. Я саму государыню всего пару раз издавеча лицезреть счастье имел, а на

большее Господь не сподобил. Опять же, коль вы, матушка, ехать собрались, значит, кличет она вас к себе? Я опять же откуда-то знать могу, как там принято: каждый ли кто из знатных господ, как вы, матушка, могут самолично туда въехать и выехать. Али билет какой особый нужен на выезд во дворец императорский? Вы уж мне, олуху Царя Небесного, растолкуйте темному...

Апраксина все это время, пока Никита говорил, не отрываясь, смотрела на оплавлявшуюся в канделябре свечу и думала про себя:

«Ежели сейчас свечка потухнет сама по себе, значит, худом все кончится...»

И действительно, только она об этом подумала, на другом конце коридора хлопнула открытая кем-то входная дверь, и свеча под напором свежего воздуха моментально погасла, и от тонюсенького фитилька хлынула к потолку тонкая струйка копоти.

«Словно чья-то душа к небу отлетела, – с мистическим ужасом подумала Апраксина. – Значит, так тому и быть...» Внутри у нее стало мерзко и гадко, и она невпопад сказала:

– Так тому и быть...

– Чему быть-то? – услужливо переспросил Никита. – Думаете, ехать надо? Санки закладывать?

– Душу свою заложу, а санки отставь! – притопнула каблучком мягкого сафьянового сапожка Апраксина. – Дурень ты, дурень и есть, чего еще от тебя ожидать-то?

Никита не показал обиды, но лицо его сморщилось переспелым грибом, потух блеск в серо-зеленых глазах, и он изо всей мочи крутанул в ладонях свою шапку.

– Как скажете, барыня Аграфения Леонтьвна, – скороговоркой выпалил он и попятился к дверям, посчитав разговор свой оконченным.

– Куда это ты, бестия рыжая? Я тебе велела уйтить? Стой и слухай дальше, чего говорить буду, – свела широкие брови к переносице Апраксина. – Больше мне покамест совет держать не с кем: сын – малолетен, какой из него советчик. А дочки, они дочки и есть, не велика ума палата, от них чего путного услыхать-то можно? Дурь разве что какую. Так дурь сказывать и я не хуже их умею. Потому тебя и держу перед собой, авось да скажешь чего, мужик, поди... Да, слыхивала я, будто ты всю мою дворню перепортил на сеновале у себя, а потому сейчас по кухне семеро рыжиков таких же, как батька их, шастают. Чего, отпираться станешь?

Конюх пристыженно молчал, вернее, делал вид, что ему стыдно. На самом деле его так и распирало от гордости, раз о его похождениях известно даже самой хозяйке. Он и на нее давно поглядывал с вожделением, словно племенной бугай, нагулявший силу на вольных хлебах. Не раз ему приходило на ум прокрасться к ней в спальню тайком и совершить свое мужское дело под покровом ночи. Но не решался. Знал, чем подобное своеобразие может закончиться. Ладно, коль в солдаты пошлют, а могут иное наказание, что хуже смерти, придумать. Потому оставаться наедине с хозяйкой было для него сущим испытанием. Он покрывался густой испариной, грудь у него чесалась, ноги наливались чугуном, и он готов был многое отдать, лишь бы она поскорей отпустила его к себе на конюшню. Уж там-то он знал, как себя повести, зазвав под каким-то предлогом первую попавшуюся на глаза горничную или кухарку, отводил свое естество до последней степени так, что потом сил не хватало встать на ноги.

– Оглох, что ли? – очнулся Никита от своих грешных дум и поднял глаза на Аграфену Леонтьевну.

Он не успел заметить, когда она поднялась с кресла, подошла вплотную к своему кучеру и в упор глядела на него. От нее шел неземной запах каких-то заморских благовоний, чего он ни разу не чувствовал от местных баб и девок, лицо было напылено. Надетый на неприкрытое рубашкой тело халатик позволял разглядеть все приватные подробности, включая изрядно увядшие багровые сосцы. Близость барыни делала ее вдвойне, втройне желанней. Казалось, протяни руку, сорви с нее халатик... и все... дальше бы она из его цепких рук не вырвалась, охнуть бы не успела, как он повалил бы ее на кровать, а там... будь что будет.

Но, видимо, Апраксина прочитала мысли его и... отвесила ему такую знатную оплеуху, что Никита отлетел в угол, выронив из рук скрученную жгутом шапку.

– Ах ты, сморчок недоношенный, рыжая морда шелудивая, смерд блудный!!! – осыпала она своего верного конюшего такими изысканными ругательствами, чего тот сроду не ожидал от своей хозяйки. – Думаешь, я кривая али подслеповатая, не вижу, куда ты зенками своими метишь? За дуру меня держишь?! А ну, признавайся в крамоле своей, а то кликну Кузьму да Вавилу, оне тебя мигом в батога возьмут, живого местечка не оставят, уж ты меня попомнишь добром...

Однако Никита ясно понял, что звать она мужиков не станет и ничегошеньки ему не грозит. Поди, хоть и барыня, а все одно – баба! А какой же бабе неприятно, когда ее масляными глазами разглядывают да слюнки пускают на чужое добро. Ясно дело, не его она поля ягода, не хочет честь замарать, согрешить срамное дело со своим конюхом, но... сильна бабенка, ох, ядреная! За такую можно и батогов опробовать, только вот сдюжит ли он, Никита, с этакой? Вот что останавливало пребывавшего в углу в неловкой позе конюха.

– Так станешь сознаваться, ирод ты этакий? – донесся до него чуть помягчавший голос Апраксиной. – Только не отпирайся, будто никаких думок срамных на мой счет не держал...

Никита, опираясь спиной о стену, не спеша поднялся, подхватил шапку и, лишь когда выпрямился и почувствовал сзади себя спасительный проем двери, ответил с полуулыбкой:

– Чего я вам скажу, Аграфиня свет Леонтевна, вы тому все одно не поверите. Вы за меня все знаете, а я за вас тоже кое-чего разумею... – Тут он храбро улыбнулся, склоняя голову набок. – Мне при моем уложении и должности мыслей грешных иметь не положено, так уж от века в век повелось. Но был бы я в иной статности, то, глядишь, все иначе сложиться могло, уж не взыщите...

Апраксина от последних его слов громко прыснула в платок, зарделась и, махнув в его сторону свободной рукой, велела:

– Иди уж, курохват, да выбирай себе квочку по своему уложению, как ты тут сказывать изволил. Зла на тебя не держу, поскольку породу вашу кобелиную сызмальства выучила, и чего ждать следует от кобеля, мне тожесь известно...

– Обижаете, матушка, – попробовал оставить последнее слово за собой Никита и шагнул было за порог, но властный голос хозяйки остановил его:

– Куды это побег? Я тебе еще не все сказала.

Никита затравленно глянул в ее сторону, втянувши голову в плечи, ожидая очередных нареканий и бранных слов, но Апраксина словно забыла обо всем и с расстановкой произнесла:

– Оно и хорошо, что потолковала с тобой. В голове прояснилось будто что. Не поеду в императорский дворец, а вот в Ораниенбаум завтра же отправимся еще затемно. Проследи, чтоб все ладом было, как положено. Четверых конников верхами, двоих гайдуков на запятки, карету проверь, шкур туда теплых наложи, да не с вечера, а утром, перед самым моим выходом. И из девок кого отряди понарядней, чтоб мне не скучно одной ехать было. Можно бы и дочек взять, да у них на сборы полдня уйдет...

Никита с подобострастием, время от времени кивая в такт словам хозяйки, выслушал все наставления, и когда она небрежно махнула ему рукой, тут же исчез, прогромыхав коваными сапогами по толстеным половицам.

Когда он вышел на улицу, держа шапку в руках, то вскинул вверх непокрытую голову и увидел на темном ночном небе горсти звезд, словно разбросанных чьей-то рукой. Поежилась, натянул шапчонку на голову и подумал, вдыхая от своей одежды остатки барского неуловимо волнующего аромата:

«А ведь хороша, чертовка! Хоть почти старуха, а все одно хороша! И врезала она мне знатно. От такой, поди, можно и затрещины принимать хоть каждый день, было бы за что...»

Потом он неторопливо отправился на конюшню наказать младшему конюху Савелию, чтобы тот с вечера хорошенько накормил выездных коней и осмотрел сбрую.

3

Апраксина же, оставшись одна, мысленно унеслась далеко от судьбы своего горемычного муженька, бывшего главнокомандующего русской армией в Пруссии. Она как-то уже поверила, что ничего не выйдет, никакие ее хлопоты не помогут его освобождению, но хлопотать все одно надо.

Выехать затемно не вышло, хотя Никита подготовил и лошадей, и гайдуков, проверив лично, кто во что вырядился.

На запятки кареты по приказанию Никиты должны были запрыгнуть два дюжих молодца в смушковых полушубках и бараньих шапках, подпоясанные красными поясами. Лишь после того, как конюший проверил каждого и убедился, что никто накануне лишнего на грудь не принял, велел готовить лошадей и карету, поставленную на длинные березовые полозья, обитые полосовым железом.

На кухне тем временем, возле печки, набирали жар дорожные лисьи полога, готовые укутать ноги хозяйки; собрана была всяческая снедь для раннего перекуса, на верх кареты загружены баулы с нарядами, всегда сопровождавшие Апраксину в ее дальних поездках. Дворня так и совсем спать не ложилась, выпекая хлеба, расстегаи, овсяное печенье, готовя в специальных кадушках моченые яблоки, капусту, пареную репу, запечатывала разных видов наливки.

Ждали барыню, вокруг которой хлопотали Аглая и Евлампия. Калмычку Ульянку с утра пораньше Аграфена Леонтьевна отправила с извещением к дочерям, что едет к молодому двору в Ораниенбаум и просит их поспешать в родительский дом и отправиться на столь важную встречу втроем. Как назло, Ульянка не возвращалась уже больше часа. То ли заплутала, хотя была у дочерей Апраксиных с поручениями подобного рода не единожды, то ли те тянули с ответом или была иная причина, но Аграфена Леонтьевна начала сердиться и на дочек непутевых, и на горничных девок, что не предвещало ничего хорошего. В гневе ее побаивался сам генерал-фельдмаршал, имея тоже нрав крутой и злобный. Но с женой своей ни одной баталии он за все время их совместной жизни выиграть не сумел ни единожды.

Наконец хлопнула входная дверь, и в хозяйскую спальню влетела запыхавшаяся и раскрасневшаяся от быстрого бега Ульянка. Она, тяжело дыша, вытянула из-за обшлага облезлой заячьей шубейки два конверта синего цвета, торопливо протянула их Аграфене Леонтьевне и громко шмыгнула носом, добавив что-то на своем языке.

– Чего сказать хочешь? – тут же переспросила ее барыня. – Говори ладом, а то я разные шмыганья и шамканья понимать не приучена.

Ульянка растерянно развела руками и в очередной раз шмыгнула носом, указывая на конверты, произнесла лишь:

– Тамо оно...

– Пошла с глаз моих долой, все одно от тебя ничего не дождешься, – отмахнулась от нее Аграфена Леонтьевна, вскрыла по очереди оба письма и, сощутив глаза, принялась читать дочерние послания. Потом сморщилась, точь-в-точь, как это делала Ульянка, и отбросила на стол оба листа. – Иного ответа и не ждала, – насупясь, произнесла она, ни к кому не обращаясь. – Все, едем сейчас же, ждать нам больше некого.

Ехать решили напрямик через Стрельну и Петергоф, хотя дорога та, по словам Никиты, была хуже, и их непрерывно обгоняли более легкие саночки молодых господ, спешащих непонятно куда. В сторону столицы тянулось множество саней с сеном, дровами, но скакавшие впереди кареты гайдуки громко хлопали длинными кнутами, расчищая дорогу для своей хозяйки.

Несколько раз останавливались в небольших деревеньках, давая отдых лошадям. Подле Петергофа, когда позади осталась большая часть пути, Никита дал лошадям овса, привесив к их мордам специально припасенные торбы. Сама же Аграфена Леонтьевна попросилась в ближайшую крестьянскую избу погреться и немного отдохнуть.

После недолгого отдыха вновь двинулись в путь.

Обе девушки ехали с ней в карете и время от времени пытались затянуть какую-нибудь песню, но морозный воздух не давал им распеться в полной мере, и они вскоре замолчали.

Ближе к вечеру слышался колокольный звон с дворцовой церкви, а вскоре показались въездные ворота перед обмелевшим рвом и кое-как сварганенным на скорую руку мостиком из трех бревен, связанных меж собой просмоленным корабельным канатом. В арке ворот горел огонек масляного фонаря, показывая тем самым, что там кто-то есть.

– Эй, служивые, к вам как перебраться по таким шатким жердочкам? – не слезая с козел, крикнул Никита, придерживая коней. Гайдуки, ехавшие спереди, тоже приостановились, не зная, как им быть.

– Was zum Teufel hat dich gebracht, so spät?³ – слышалась со стороны ворот немецкая речь.

– Кажется, нас здесь не ждали... – озадаченно произнесла Апраксина. Она открыла дверцу кареты и потребовала, обращаясь к кучеру Никите, чтобы он сообщил сторожам, что супруга фельдмаршала Апраксина прибыла ко двору их императорских высочеств.

Никита озадаченно почесал затылок под взмокшей шапкой и про себя чертыхнулся, но пререкаться с хозяйкой не стал, а крикнул довольно громко:

– Эй, камарад, позови кого, чтоб по-русски понимал! – Потом уже не так громко добавил от себя: – Кажись, у себя дома, в России живем, а по-нашенскому нас понимать не хотят. Дожили, мать твою, медведицу...

Видимо, караульные поняли, о чем их просят, или внешний вид кареты и сопровождающих ее гайдуков подействовал, но на узкой нечищенной тропинке парка показалась темная фигура, и через какое-то время к карете подошли два человека.

– Чего изволите? – спросил одетый в офицерскую епанчу один из них. – У стражи от их высочеств не было никаких распоряжений насчет вашего прибытия, потому вам надлежит представиться. После чего мной будет доложено его высочеству, и как они решат распорядиться, так и надлежит вам поступить. Так как о вас доложить?

– Графия Апраксина, – небрежно бросила Аграфена Леонтьевна. – С кем имею честь беседовать?

– Камергер двора его наследного высочества Николай Наумович Чоглоков, – довольно развязно ответил тот.

Аграфена Леонтьевна напрягла память, вспоминая фамилию камергера... Она явно где-то ее слышала, но в связи с чем, припомнить сразу не могла. Потом все же вспомнила давние разговоры о чете Чоглоковых, которые по приказу императрицы Елизаветы Петровны были приставлены к молодому двору то ли в качестве воспитателей, то ли соглядатаев, а может быть, в том и другом вместе.

Пока Чоглоков отсутствовал, Апраксина при помощи девушек спустилась из кареты, чтобы размять ноги и оглядеться. В сумраке трудно было разобрать, что за строения находятся за оградой, но в глаза бросалась неухоженность парка, облупленные стены и этот мостик, перед которым они вынуждены были остановиться. Сразу чувствовалось, что молодое семейство не особо озабочено внешним видом своего жилища.

³ Какой черт принес вас так поздно?

«Да, им, верно, иных забот хватает, каких вот только...» – подумала Апраксина и увидела фигуру возвращавшегося камергера. Он подошел к часовым, негромко что-то сказал им, а потом, легко перебравшись через неказистый мостик, сообщил:

– Их высочества рады будут принять вас, но только завтра. Сегодня, как вы сами, должно быть, понимаете, достаточно поздно. Сейчас вас проводят в дом, где вы заночуете. Кто еще с вами, не считая гайдуков и возницы? – Апраксина сообщила, что при ней лишь двое горничных, которые могут разместиться в одной с ней комнате.

– Хорошо, – кивнул Чоглоков. – Езжайте за мной, тут есть более пристойный въезд, но не все о нем знают, – проговорил он, обращаясь одновременно к кучеру и самой графине.

4

Заночевала Аграфена Леонтьевна вместе с Аглаей и Евлампией в небольшом домике неподалеку от дворца их высочеств, а гайдуки и кучер Никита разместились вместе с дворовыми людьми. Комната не отапливалась то ли в целях экономии дров, то ли в самом деле никого не ждали. Пока помещение нагрелось, Аграфена Леонтьевна изрядно намерзлась и тут же улеглась спать, слегка перекусив привезенными с собой из дома запасами.

«И чего я скажу завтра наследнице? – думала она, дрожа всем телом на холодных простынях, хотя их предварительно посушили возле печи, но они так и остались влажными. – К тому же у меня разговор сугубо конфиденциальный должен состояться лишь с Екатериной Алексеевной, а как от Петра Федоровича избавиться? Он наверняка будет присутствовать...» Она была уже не рада, что решилась на эту ничего не обещавшую заранее поездку. И хотя она была одной из самых знатных и богатых женщин России (число крепостных душ, числившихся только за ней лично, не считая тех, что были записаны за Степаном Федоровичем, доходило до десяти тысяч, а уж землицы разной и вовсе на доброе королевство хватило бы), она терялась, оказываясь подле особ императорской фамилии.

Тут ей неожиданно вспомнилось, кто таков Николай Чоглоков... В свете о его возвышении ходило множество самых разных слухов. Узнать, какой из них верный, а какой чистый вымысел, оказывалось порой не так-то просто. Все сводилось к тому, что некогда род их, происходивший из южно-русских земель, был весьма знатен и богат. Но, как часто водится, в одно прекрасное время предки нынешнего камергера лишились денег и поместий и занялись торговлей, но кто-то из их многочисленного семейства сумел попасть в столицу, где отличился редким умением в танцах любого рода. Елизавета Петровна, будучи тогда еще далеко не императрицей, а лишь дочерью усопшего монарха, что особого веса ей не прибавило, а лишь умножило число врагов, выделила Чоглокова из числа прочих. Всем известно было ее неумное желание танцевать день и ночь до упада, кавалеры же не выдерживали этакой прыти цесаревны и исчезали из танцевальной залы один за другим. Кроме Николая Чоглокова. Тот был иной породы и мог без перерыва явить хоть дюжину самых замысловатых фигур, не проявляя при этом ни малейшей усталости.

За эти ли заслуги или за проявление услуг иного рода, но в один прекрасный день Николай Чоглоков посвятился к близкой родственнице жены усопшего императора Екатерины I, звавшейся Марией Симоновной и носившей фамилию Гендирова. Елизавете Петровне, которая наверняка и сделала протекцию своему партнеру по танцам, она доводилась двоюродной сестрой. Ни больше и ни меньше. Узнав о сватовстве дворцового танцора к особе, состоящей в прямом родстве с семейством Романовых, двор вначале замер, а потом загудел, словно пчелы в колоде. Одни перестали здороваться с Чоглоковым, сочтя это ниже своего достоинства. Большая же часть вельмож кинулась заискивать и лебезить перед ним, тем более что незадолго до этого он был пожалован графским достоинством, назначен камергером двора, а затем получил должность обер-гофмейстера, да в придачу получил кавалерство ордена Белого орла. Таким

образом он в самый короткий миг обошел прочих именитых вельмож, став особой с чином третьего класса согласно российской «Табели о рангах», что приравнялось к тайному советнику по штатской службе и к генерал-лейтенанту – по военной.

Вот тогда и родилась в столичном обществе придуманная кем-то из стихоплетов злая строчка, приписываемая то ли язвительному Антиоху Кантемиру, скончавшемуся неожиданно в год свадьбы Чоглокова, то ли никого и ничего не боящемуся Михайле Ломоносову. Толковать ее можно было по-разному и отнести к особам различным, но почему-то большинство сведущих в столичных делах лиц относили ее именно к Николаю Чоглокову. А звучала она задорно и предерзостно: «Хочешь орден нацепить, умей жопой покрутить!» Нашлись даже подражатели и более злые рифмоплеты, дополнившие сию дерзость, но вскоре после пышно прошедшей свадьбы злые вирши были забыты, а чета Чоглоковых была своевременно удалена от двора императорского ко двору, как тогда принято было изъясняться, «юннатскому».

А произошло следующее. Наследником российского престола был объявлен племянник императрицы, Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский, ставший после православного крещения Петром Федоровичем. В качестве наставника приставлен был к нему именно Николай Чоглоков. Учил ли он его танцевальному ремеслу, неизвестно, но вот то, что о каждом шаге наследника он доносил лично императрице, то не было тайной ни для кого. Более того. Никто из придворных не имел права обратиться к великому князю без ведома и разрешения обер-гофмейстера Николая Чоглокова. И то была воля тихой, мягкой, но в личных делах неуступчивой матушки-императрицы. После прибытия в Петербург невесты Петра Федоровича опекать ее была приставлена супруга Чоглокова – Мария Симоновна. Поскольку местом жительства для молодого двора был выбран Ораниенбаум, туда же перебрались и Чоглоковы, чему большинство светских львиц несказанно обрадовались. Дело в том, что Николай Наумович оказался не только неплохим танцором, но еще и великим любителем женского пола. А зная его родственную связь с императорской фамилией, мало кто из фрейлин двора могли отказать ему во взаимности. Добившись несколько раз своей цели, он потерял всяческую осторожность и амурные связи женолюбивого танцора стали достоянием не только петербургского двора, но и венского, и версальского, не говоря о лондонском. Может быть, императрица в очередной раз закрыла бы глаза и на эту шалость своего бывшего партнера, но иностранные дипломаты слыли не только великими знатоками разных дворцовых сплетен и интриг, но и принимали в них самое непосредственное участие, надеясь выловить себе заветный кусочек влияния на знатное лицо путем шантажа и подкупа.

Когда канцлер Бестужев явился к императрице с письмом французского посланника, в котором тот отчитывался, сколько луидоров выложил фрейлине Кошелевой за то, что та провела несколько тайных встреч с бывшим танцором, а ныне обер-гофмейстером и кавалером ордена «Белого орла», то императрица пришла в ярость.

– Ты, Алексей Петрович, чего хошь, то и делай с ним: хошь выхолощи, а еще лучше – отправь туда, где ни одного иноземного дипломата сроду не предвидится. Но игрища оные прекращать надо.

Вот и угодил после того случая Николай Наумович в Ораниенбаум вместе со своим изрядно пощипанным орденом, графским титулом и званием чиновника третьего класса, став обыкновенным надзирателем и смотрителем по хозяйству при молодом дворе наследников российского трона.

5

На следующий день графиня Апраксина была принята в малой зале дворца, где в сад выходило лишь одно окно, а лестница возле стены вела наверх, в спальные помещения. Посредине стоял небольшой овальный столик, на котором громоздилась различная военная амуни-

ция: пистолеты, шпаги в ножнах и без оных, и сверху лежала огромная бронзовая подзорная труба. Апраксина и раньше слышала о тяге наследника к военным предметам, особенно много слухов ходило о его пристрастии к игре в солдатики, но большинство дворцовых офицеров относило это к родовой предрасположенности его предков к военным баталиям. Коль скоро проявить себя на этом поприще Петр Федорович еще не мог, потому и находил утешение в играх. Если вспомнить его прадеда Петра, то и тот не лучше был и в его годы затеял потешные полки, которые штурмовали городские московские пригороды, чем доставляли массу неудобств и неприятностей обывателям и особенно торговкам, чьи прилавки после их налетов пустели, как после нашествия настоящего супостата.

Императрица Елизавета учла эту родовую страсть и ни под каким предлогом не разрешала наследнику находиться в действующей армии. Она хорошо знала и понимала вольности и обычаи казарменного уклада, где все равны и каждый смутьян может затеять такую бучу, после которой ни правого, ни виноватого не сыскать. Единственное, что она разрешила племяннику, так это выписать роту голштинцев, которую тот с утра до вечера муштровал на небольшом плацу на краю парка. Следила она за каждым поступком наследника, и любое неосторожно сказанное при малом дворе слово уже на другой день было ей известно.

Тут Аграфену Леонтьевну и обожгла мысль: значит, и о ее визите будет доложено императрице?! И как она истолкует сей неосторожный шаг жены опального фельдмаршала? Но изворотливый ум Апраксиной тут же подсказал ей выход: «Скажу, будто бы не решилась к ней самой ехать заступничества за мужа просить, а решила начать с наследника... А там будь что будет...»

Только она успела сесть в неудобное высокое кресло с лопнувшими во многих местах пружинами, обитое выдавшим лучшие времена красным бархатом, как скрипнула дверь и в комнату вошла сама Екатерина Алексеевна, любезно улыбаясь и на ходу поправляя рассыпанные по плечам локоны золотистых с серым отливом волос. На ней было атласное платье цвета морской волны, который очень шел ее лицу, а на шее поблескивало ожерелье из красного жемчуга, придавая ей праздничность и подчеркивая свежесть ее чуть смуглого лица.

– Прошу прощения, любезная графиня Аграфена Леон... – Тут она чуть запнулась, видимо, вспоминая, как правильно произносится отчество Апраксиной, но ничуть не смутилась, а непринужденно продолжила: – Извините, но никак не привыкну правильно произносить имена православных святых. Они такие красивые и одновременно... – Она опять ненадолго задумалась.

– ...сложные, должно быть, вы хотели сказать, – помогла ей Апраксина, предусмотрительно встав с кресла и зацепившись подолом за вылезшую сквозь обивку пружину. Послышался легкий треск рвущейся материи, Екатерина догадалась о его причине, и возникла неловкая пауза.

Неожиданно Екатерина Алексеевна звонко рассмеялась, как-то по-детски хлопнула себя ладонями по бедрам и, продолжая заливаться смехом, пояснила:

– Я просила нашего нерасторопного гофмейстера поменять всю мебель, а он непонятно чем занят все время и, как всегда, забыл это сделать. Моя бы воля, прогнала бы его, как это по-русски...?

– Взашей, – тут же подсказала Апраксина, осторожно осматривая зацепившееся за предательскую пружину платье и пытаясь определить, насколько велик ущерб и можно ли будет оставаться в нем и далее или следует переодеться.

– Вот-вот, – подхватила Екатерина Алексеевна, – вза-шей!! И не жалеи! Правильно говорю?

– Верно, ваше высочество, – согласилась Апраксина, так и не решившая, оставаться ей в том же наряде или попросить разрешения на его замену.

– Сейчас мы поглядим, что за конфузия у вас случилась, – подбежала к ней Екатерина, чуть нагнулась и осмотрела повреждение. – Ничего страшного, как мне кажется. Я вам помогу наложить небольшой... – Она на минутку запнулась, вспоминая нужное слово, и произнесла его по-немецки: – Naht⁴. Да?

– Совершенно верно, – согласилась графиня Апраксина, хотя имела об иностранной речи весьма отдаленное представление, но она была рада на что угодно, лишь бы скорее прикрыть свой конфуз.

– Шоф, – неожиданно вспомнила ускользнувшее от нее слово Екатерина. – И все будет выглядеть вполне пристойно. Подождите минутку... – И она умчалась в ту же дверь, оставив графиню в полном недоумении.

Та не решилась повторить неудавшуюся попытку сесть в кресло и решила стоя дожидаться возвращения Екатерины Алексеевны. Но прошла минутка, за ней другая, а та все не возвращалась. Вдруг наверху раздались громкие шаги, а потом на лестнице показались высокие сапоги с прицепленными к ним шпорами. Сапоги неуверенно ступали по косым прогнутым степеням, и наконец показался сам их обладатель. То был Петр Федорович собственной персоной. Апраксина сделала легкий книксен и отступила назад, в результате чего неустойчивое кресло тут же рухнуло на пол. Она побледнела, не зная, куда ей деваться после случившихся неприятностей, и хотела выскочить за дверь.

Но Петр Федорович, как галантный кавалер, ловко подскочил к ней, причем ростом он оказался ровно по ушко бравой фельдмаршалыше, одной рукой подхватил с пола злосчастное кресло и поставил его к стене, а потом попытался усадить на него даму.

– Покорнейше благодарю, ваше высочество, – отказывалась графиня, памятуя о предательских пружинах и не желая окончательно оскандалиться.

– Нет, это я вас прошу присесть. Не будем же мы, как на смотр, стоять напротив друг друга. Мне же неловко сидеть в присутствии столь высокочтимой особы...

От этих слов Аграфена Леонтьевна расцвела, зарделась и изобразила полное расположение к особе наследника, но... сесть не решилась.

Обескураженный Петр Федорович отошел к столу, где ему под руку попала подозрительная труба, и он, найдя в том спасительный выход из создавшегося положения, схватил ее, раздвинул почти до предела, подошел к окну и поманил графиню к себе.

⁴ Naht (нем.) – шов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.